

От автора *Назови меня своим именем*

ГАРВАРДСКАЯ ПЛОЩАДЬ

РОМАН

АНДРЕ АСИМАН

18+

SE L'AMORE

Андре Асиман

Гарвардская площадь

«Popcorn books»

2012

УДК 821.111
ББК 83.3(7Сое)

Асиман А.

Гарвардская площадь / А. Асиман — «Popcorn books»,
2012 — (SE L'AMORE)

ISBN 978-5-6046290-7-9

Новый роман от автора бестселлера «Назови меня своим именем». «Гарвардская площадь» – это изящная история молодого студента-иммигранта, еврея из Египта, который встречает дерзкого и харизматичного арабского таксиста и испытывает новую дружбу на прочность, переосмысливая свою жизнь в Америке. Андре Асиман создал в высшей степени удивительный роман о самосознании и цене ассимиляции.

УДК 821.111
ББК 83.3(7Сое)

ISBN 978-5-6046290-7-9

© Асиман А., 2012
© Popcorn books, 2012

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Пролог | 6 |
| 1 | 11 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 35 |

Андре Асиман

Гарвардская площадь

André Aciman
Harvard Square

Cover photograph © 2013 by Allen Donikowski / Flickr Open / Getty Images

Cover design © 2013 by Rodrigo Corral Design

Copyright © 2012 by André Aciman

© А. Глебовская, перевод на русский язык, 2021

© Издание, оформление. Porcorn Books, 2021

* * *

Моему брату Алану

Пролог

– А можно мы просто уйдем?

Я ни разу не слышал от сына ничего подобного за все те недели, что мы вдвоем колесили по колледжам. Посмотрели три университета на Среднем Западе, заехали в институты свободных искусств в Новой Англии, Пенсильвании и Нью-Йорке. И вот на последнем витке нашего летнего абитуриентского турне перед поступлением, в уголке Массачусетса, который я знал так хорошо, сын то ли полностью выдохся, то ли просто сорвался.

«Мне здесь не нравится», – объявил он. Я ответил, что уйти не вариант. «А вот и вариант», – отозвался сын. Чтобы другие семейства, собравшиеся в помещении приемной комиссии, нас не услышали, я понизил голос и объяснил, что уйти до приветственной речи будет просто неприлично. На мой аргумент он отрывисто и досадливо ответил: «Тогда разделимся». Помещение с деревянными стенными панелями и толстым ковром на полу заполнялось все сильнее. «Сейчас, например», – прошепел он, едва ли не с угрозой заговорить в полный голос.

– Я не понял, – прошептал я. – Лучший университет во всем мире, а ты раз – и бежать. С чего бы?

Спорить было бесполезно. Кроме прочего, просто поглядев на меня, он, видимо, понял, что сопротивляться я не стану. Я, наверное, тоже устал, надоели мне эти организованные экскурсии по колледжам. Сын не стал ждать, пока я сдамся. Встал, подхватил свою объемистую брошюру и бейсболку. Пришлось встать и мне, хотя бы ради того, чтобы размолвка наша не бросилась в глаза окружающим. А потом – я и оглянуться не успел – мы уже осторожно пробирались к выходу из приемной комиссии. На наши места почти мгновенно поместилась другая пара: отец и сын.

В вестибюле, где перед входом собрались еще родители, мы услышали, как какая-то сотрудница объявила с легким панибратским смешком в голосе – видимо, по замыслу голос должен был звучать доброжелательно и ободряюще, – что после короткого вступления она с коллегами проведет нас в такое-то место, потом еще в одно, потом двинемся в третье, там остановимся у памятника такому-то и полюбуемся изумительным видом, который в Гарварде тоже очень любят. Я мгновенно опознал несколько чванливый распев, с которым она оглашала маршрут, наверняка тщательнейшим образом спланированный. При этом она пыталась сделать вид, что нас ждет неожиданное и захватывающее развлечение, а мы не просто собираемся таскаться по очередному кампусу.

Когда мы вышли, в дверь продолжали входить родители с будущими абитуриентами – направлялись к столу с информацией, а оттуда следовали в зал.

Снаружи, в патио, мы вдохнули воздух раннего утра. Я признал зачаточную дымку, возвещающую, что на Бостон надвигается типичный душноватый летний день.

Было видно, что сыну не по себе. В патио он увидел знакомого. Они попытались уклониться друг от друга. Когда не вышло, тот, другой, торопливо буркнул то, что, видимо, между учениками школ-соперниц должно было сойти за сердечное приветствие. По крайней мере, правила игры юноша знает, подумал я. В воздухе так и витали бахвальство и подспудные распри, и всем – как родителям, так и детям – было совершенно ясно: либо подходи к делу всеерьез, либо – в сторонку.

Мы вышли из здания и напрямую, через территорию Института Рэдклиффа, двинулись к реке. Я хотел спросить, откуда такая внезапная робость, тяга сбежать. Потом подумал, что пока об этом рано. Напряжение, как подкладка под наше общее молчание, и так было слишком ощутимо и не спадало. Потом, в качестве такого пояснения, которое одновременно норвило сойти и за извинение, сын, минутку поколебавшись, произнес:

– Это просто вообще совсем не мое.

Я не понял, что именно «это». Имел ли он в виду поездки по университетам, университетские городки, приемные комиссии, университеты в целом? Или речь шла о посетителях, которые подспудно выхвалялись своими отпрысками, одновременно и с легким благоговением, и со скрытой гордостью? Каждый пыжился, чтобы не выказать слишком сильной ревности, или робости, или легкомыслия – вдруг члены приемной комиссии о нем не так подумают. Или он имел в виду именно Гарвард? Или – и это меня внезапно напугало – взбрыкнул он потому, что от него потребовали любви к этому университету только по той причине, что его любил я?

Мы приехали на день раньше и успели осмотреть многие гарвардские уголки: здания Рэдклиффа, Ривера, – а потом я отвел его на величественную лестницу Библиотеки Уайденера, и мы на цыпочках проследовали в главный читальный зал. Я постоял там чуть-чуть без движения. Я, похоже, скучал по своим здешним аспирантским временам. Пустынный читальный зал в погожий летний день остается одним из чудес света, сказал я, когда мы уже почти уходили. Все, на что его хватило, – это произнести с тоской, но не менее досадливо: «Ну, наверно».

Я показал ему все те места, где жил: Оксфорд-стрит, Уэр-стрит, Лоуэлл-Хаус. Разве Лоуэлл-Хаус не напоминает ему гранд-отель на Ривьере постройки рубежа веков?

– Общежитие как общежитие.

Показывая ему город, я постоянно думал о том, каково это – гулять с отцом, глядеть, как он останавливается в разных местах, которые для тебя ровным счетом ничего не значат. Выслушиваешь разные подробности про его аспирантскую жизнь задолго до встречи с твоей мамой и не можешь, да и не хочешь никак примерить это на себя; возможно, тебе слегка стыдно, что ты не в состоянии даже изобразить интерес, который отец так старательно в тебе пробуждает. Все, что он видит, будто погружено в душную бадью ностальгии, а прошлое, пусть щеки у него и румяные, неизменно издает этакий неприятный затхловатый запах старых курительных трубок и заплесневелых комнат, которые сто лет как не проветривали. Я попытался рассказать ему про Конкорд-авеню и Прескотт-стрит, на которых жил тоже, но это было все равно что пригласить его вместе со мной подстричься в моей любимой парикмахерской на Данстер-стрит. Он мне потворствовал, но не более. А самому все равно. Попроси я, он бы ответил: «Мне вообще еще рано стричься».

Я сказал, что знаю одно место, где делают отличные бургеры.

– А ты уверен, что оно не закрылось?

В голосе вновь – насмешка и налет иронии. Он уже услышал от меня, что за тридцать лет многое переменялось: не расположение улиц или магазинов, но сами магазины, их навесы и шатры, а может, и само ощущение от этого места. Гарвардская площадь сделалась меньше и казалась тесной, запруженной народом. Построили новые здания, а кинотеатр на площади, как и многих его собратьев по всему миру, выпотрошили и четверговали. И даже непреклонный «Кооп» – сокращение от «Гарвардское кооперативное общество», – большой универсальный магазин, расположенный прямо на Гарвардской площади, сильно изменился: солидную его часть превратили в магазин для приезжих, торгующий университетской символикой. Я до сих пор помнил свой кооповский номер. Я назвал ему свой кооповский номер.

– Да, знаю, знаю, – поспешно добавил я в торопливой попытке предотвратить очередное бурчание, – магазин как магазин.

Как и многие родители, которые когда-то и сами здесь учились, я очень хотел, чтобы сыну понравился Гарвард, но настаивать не пытался из страха, что он вовсе вычеркнет его из списка. Часть моей души хотела, чтобы он пошел по моим стопам. Его, понятно, это бесило. А может, мне самому хотелось еще раз пройти по собственным стопам, но уже его ногами. Это его взбесит еще сильнее. Идти по папочкиным стопам в качестве папочкиного двойника, чтобы папочка поквитался с прошлым! Я так и слышал его слова: «Только этого мне во время такой поездочки и не хватало».

Мне хотелось разделить с ним и вернуть себе все открыточные моменты своего прошлого: тот день, когда я перешел через мост в снегу, пока друзья бежали через замерзший Чарльз, а я думал: «Какие безбашенные»; мое первое посещение возлюбленной Библиотеки Хаутона: как я ждал, пока библиотекарь выдаст мне первую мою редкую книгу, написанную мадемуазель де Гурне, приемной падчерицей Монтеня; пожилое лицо давно покойного Роберта Фицджеральда, который научил меня столь многому в немногих словах; последний бокал вина в баре «Харвест» – и сжимающее горло нежелание идти на занятия в студеный ноябрьский день, когда больше всего хотелось свернуться где-нибудь с книгой и отпустить мысли на свободу. Я хотел вместе с ним пройти по мощеным переулкам к реке и в один зачарованный миг охватить взором красоту укрозного мирка, который обещал мне так много и в итоге даровал гораздо больше. Постройки, дуновение ранней осени, голоса студентов, каждое утро набивающихся в аудитории, – мне страшно хотелось, чтобы он откликнулся на этот зов и встал на этот путь.

Наконец мне хватило духу спросить, как ему увиденное.

– Ничего.

А потом неожиданно он вернул мне подачу и задал тот же вопрос. Нравится мне тут?

Я ответил – да. Очень.

Зная, что говорю о прошлом.

– Гарвард я полюбил потом, а не в процессе.

– Поясни.

– Жизнь тут была нелегкая, – ответил я, – причем я имею в виду вовсе не учебу, хотя учились мы много и требования были высокие. Трудно было жить той жизнью, которую предлагал мне Гарвард, и не думать при этом о том, что это мираж. С деньгами было туго. Выпадали дни, когда грань между поесть или не поесть выглядела не черточкой на песке, а скорее оврагом. Смотришь на вечеринку, даже слышишь ее – а самого тебя не пригласили.

Тяжелее всего, пытался я сказать, помнить о том, что тебя пригласили.

Я был чужаком, молодым человеком из Александрии Египетской, неизменно озадаченным, рьяно стремящимся стать своим в этом странном Новом Свете.

Об остальном я не хотел думать, не хотел вспоминать, а уж тем более рассуждать прямо сейчас. Кроме того, воспоминания о моем гарвардском «в процессе» до сих пор были запряжаны в дальний чулан – нет, вовсе не забыты, а как бы отнесены на ледник дожидаться особого дня из дальнего будущего, когда найдутся силы и досуг до них добраться. Сейчас не время. Сейчас я хотел вытащить на свет волшебство этого ощущения *любви задним числом*, ибо оно оставалось со мной все эти годы и тянуло меня назад в те времена, о которых я сильно скучал, но про которые твердо знал: проживать их заново мне не хочется вовсе. Возможно, именно это ощущение «любви задним числом» и подтолкнуло меня совершить с сыном эту одиссею по колледжам, потому что меня страшно тянуло вернуться в Кембридж – пусть сын будет моим щитом, моим прикрытием, моим двойником.

Как объяснить все это семнадцатилетнему юноше, не сломав при этом карусель образов, которыми я делился с ним еще в его дошкольные дни? Кембридж в тихие воскресные вечера; Кембридж в дождливые послеполуденные часы, с друзьями, или в метель, когда жизнь продолжала идти своим чередом, а дни казались короче и праздничнее, и хотелось одного: вообразить, что у ворот привязаны в ожидании лошади, которые отвезут тебя в страну Итана Фрома; суэта на Площади пятничными вечерами; Гарвард во время библиотечных каникул в середине января: кофе, еще кофе, постоянный перестук пишущих машинок повсюду, или Лоуэлл-Хаус в последние дни библиотечных каникул весной, когда студенты часами валяются на траве, негромко переговариваются, и звуки подступающего лета приглушают их голоса.

– Мне тут очень нравилось, – сказал я наконец. – И сейчас нравится.

А потом мы вошли в «Кооп».

– Только не спрашивай, сохранили ли за тобой твой номер, – умолял сын, который знал, как устроены мои мозги, и не хотел, чтобы я своими ностальгическими вздохами поставил его в неловкое положение перед продавцом, которому нет до них никакого дела.

Я пообещал молчать как рыба. Но потом – мы купили две футболки, одну ему, одну мне – не сдержался.

– 346–408–8, – произнес я.

Сказал продавцу, что номер запомнил, потому что всегда произносил его вслух, когда приходил в «Кооп» за пачкой сигарет. А в те времена я каждый день покупал по пачке, а то и дважды в день.

Продавец заглянул в компьютер и сказал, что меня у них в системе нет.

Так же, полагаю, и бывший мой здешний телефонный номер больше не записан на мое имя.

Так же – если только не выстроить свою жизнь иначе – некоторые из нас приезжают в Кембридж, проводят здесь несколько лет, а потом покидают это место, а после и эту планету, не оставив за собой следа.

«Нет в системе» – вот как это называется. Теперь придется задаться вопросом, был ли вообще когда-то в здешней системе.

Я когда-то был здешним, но было ли это место моим домом? Или было ли оно моим домом, хотя здешним, по сути, я так никогда и не стал? «Нет в системе» покрывало собой оба варианта.

Сын призвал меня не вступать в разговоры с продавцом. Но что-то в моей душе отказывалось мириться с тем, что я больше не в системе, да и никогда в ней не был. Я попросил продавца проверить еще раз и повторил свой номер.

– Прошу прощения, – смущенно произнес юноша. – Номер по-прежнему записан на ваше имя, но вам необходимо его реактивировать.

Значит, в системе я есть, но не активен – этакий крот или шпион, всегда внутри, всегда на окраине. Этим все сказано. Сыну я не желал такого.

Когда мы подошли к Брэттл-стрит, я внезапно осознал, как сильно и при этом как мало изменился этот квартал. Кинотеатру «Брэттл» ничего не сделалось, только построили новый подземный вход. «Касабланке» тоже ничего не сделалось, ее просто выпотрошили и усекли. И, наконец, кафе «Алжир» переехало с нижнего этажа на верхний, хотя зеленая вывеска не переменилась. Я постоял перед старой кофейней, где провел целые годы за чтением и где одним давним летом встретил человека, который едва-едва не изменил весь ход моей жизни – могло получиться, что сегодня я не был бы отцом своего сына.

– В каком смысле не был бы моим отцом? – осведомился сын, раньше не слышавший ничего подобного, поэтому эти мои слова здорово его озадачили.

Отвечать не хотелось, отчасти потому, что я и сам не был уверен, что знаю ответ, отчасти потому, что не хотелось ранить его мыслью, что сущность его и существование во многом зависели от причуд и уловок судьбы.

– То были дни, когда я не был уверен, что хочу жить здесь дальше, – мне тоже хотелось разделить. – Я хотел, чтобы он услышал, как я повторяю его слово. – Причем речь шла не только о Гарварде, но и о США.

– И?

– У меня тогда даже гражданства не было, и какой-то гранью души – лишь одной гранью – меня страшно тянуло обратно в Средиземноморье. А этот парень тоже был из тех краев, и его тоже туда тянуло. Мы подружились.

Я продолжал рассматривать вывеску кафе «Алжир» и без всякого усилия почти пошел на зов громкого хлопанья фишек для бэкгаммона, которые звали меня к себе через десятилетия.

Я, помнится, ошивался тут, чтобы не возвращаться домой, чтобы заполнять вечера светом и дружеством, потому что в те времена больше света и дружества взять было неоткуда.

– А почему ты захотел уехать?

– По многим причинам. Провалил экзамен. Сказали – один раз пересдать можно, а два уже нет. Вот и захотелось уехать, пока меня не выгонят после второго провала.

Все это были просто слова. И вряд ли так уж конструктивно делиться этим всем с человеком, которого уже и сейчас одолевают сомнения по поводу Гарварда.

– Экзамен я сдал, – произнес я наконец. – Гарвард отличался щедростью и даже великодушием.

Но я не мог забыть те дни и вечера в кафе «Алжир», куда я приходил, потому что тогда маленькое подземное кафе было единственным местом по эту сторону Атлантики, которое я худо-бедно мог назвать своим домом. Запах турецкого кофе, французские песни, которые тут звучали, даже болтовня собравшихся здесь женщин и мужчин и просто липкая деревянная сырость моего квадратного столика, рядом с которым висел самодельный плакат: пустой пляж и приморский городок под названием Типаза с бирюзовым морем, влажным и манящим, – все в этой кофейне напоминало мне о Ближнем Востоке, который, как мне казалось, я утратил, оставил в прошлом, чтобы внезапно осознать: я еще не готов его отпустить. По крайней мере пока. Даже ради Гарварда, ради Америки, ради кого бы то ни было – даже ради детей, которых мечтал рано или поздно завести. Я был не таким, как все остальные в Кембридже, не был одним из них, не был в системе – не был там никогда. Это не мой дом, я здесь так и не прижился. Это не мой народ, и это не изменится никогда. Это не моя жизнь, не мое место рождения, это даже не я, это не может быть мной. Было это летом 1977 года.

1

Кембридж превратился в пустыню. Лето выдалось одним из самых жарких на всей моей памяти. К концу июля днем приходилось постоянно прятаться, а ночью невозможно было заснуть. Все мои друзья-аспиранты разъехались. Фрэнк, мой бывший сосед по общежитию, преподавал итальянский во Флоренции, Клод вернулся во Францию и поступил к отцу в консалтинговую фирму, Нора отправилась в Австрию на интенсив по немецкому. Нора писала мне про Фрэнка, Фрэнк – про Нору. «У него почти все волосы выпали, а ему еще и 25 нет». «Она, – писал он, – безмозглая молотилка языком, которой по-хорошему жарить бы гамбургеры». Я пытался сохранять нейтралитет, но обнаружил, что завидую их любви и боюсь ее прекращения – возможно, даже сильнее, чем они сами. Один цитировал мне Леопарди, другая – Донну Саммер. Оба быстро завели за границей новые романы.

Другие мои друзья, поначалу оставшиеся в Гарварде преподавать на летних курсах, теперь тоже разъехались. Ко мне текли открытки: Париж, Берлин, Болонья, Сирмионе и Таормина, даже Прага и Будапешт. Один из моих друзей-аспирантов двинулся по «пути Петрарки» от Арквы до Прованса и писал, что собирается с друзьями-медиевистами, подобно Петрарке, взойти на гору Ванту. На следующий год, добавил он на той же открытке своим мелким убористым почерком, он собирается влезть на гору Сноуден в Уэльсе; нужно и мне с ним поехать – я же люблю Вордсворта. Еще один друг, ярый католик, отправился в паломничество в Сантьяго-де-Компостела. Потом они собирались встретиться в Париже, чтобы прилететь назад на одном самолете и осенью – как и все мы – приступить к преподаванию. Я скучал по друзьям, даже тем, которых не слишком любил. При этом всем им я задолжал денег, так что отсрочка оказалась кстати.

Детишки из летней школы разъехались, разъехались и иностранные студенты, толпами слетавшиеся в Гарвард на летние программы. Лоуэлл-Хаус опустел, ворота его заперли на засов, примотанный цепью. Порой одна только мысль о том, чтобы подойти к нему, встать в главном дворе, обрамленном балюстрадами, сама по себе порождала иллюзию Европы. Можно было постучать в окно и попросить сторожа Тони открыть мне ворота – сказать, мне нужно в мой кабинет. Но я знал, что на все про все уйдет всего-то минутка-другая, так что беспокоить его было неудобно.

Передо мной был другой Кембридж.

Как и каждый год, в середине лета, когда студенты и почти все преподаватели разъезжались, Кембридж приобрел иной, более ласковый, менее выпендренный характер. Темп жизни замедлился: парикмахер выходил к дверям своего заведения выкурить сигарету, продавцы в «Коопе» болтали с покупателями и между собой, официантка в кафе «Анечка» все пыталась определиться, оставить ли стеклянную дверь открытой или пора уже включить их дребезгливый кондиционер. Кембридж в начале августа.

Я остался здесь на все лето, работая неполный день в одной из гарвардских библиотек. Почасовая оплата была мизерной. Чтобы сводить концы с концами, я преподавал французский. Деньги уходили на жилье. Среди прочих приоритетов значились: еда, сигареты, когда возможно – рюмка спиртного. Когда деньги заканчивались – а это неизменно случалось в конце каждого месяца, – я надевал рубашку, пиджак и галстук и шел обедать в факультетский клуб, где, затесавшись среди почтенных гарвардских профессоров и заезжих знаменитостей, можно было питаться в кредит. В январе я завалил квалификационные экзамены, осталась единственная попытка пересдачи. Ко второй попытке, назначенной на начало нового года, я усердно читал, таская за собой книги повсюду. В глубине души поселилось унылое чувство, что учеба в аспирантуре будет тянуться и тянуться – никакого конца в виду, я и глазом моргнуть не успею, как мне исполнится тридцать, сорок, потом я умру. Либо это, либо я снова опозорюсь

на квалификационных экзаменах и преподаватели убедятся в том, о чем, вероятно, уже давно подозревали: что я – пустышка, нет у меня врожденных способностей к преподаванию, а уж к научной работе и подавно, вкладывать в меня деньги с самого начала было дурацкой затеей, я черная овца, подгнившее яблочко, сорное семя, я так и войду в анналы как самозванец, который неведомым образом затесался в Гарвард, но его вовремя отправили на выход. Все эти последние четыре года я только тем и занимался, что прятался от безжалостного мира за университетскими стенами, закапывался в книги и одновременно презирал те самые стены, которые меня защищали и давали возможность прочитывать все больше и больше книг. Я терпеть не мог почти всех сотрудников своего факультета, от декана до секретаря, включая своих братьев-аспирантов: терпеть не мог их манерную набожность, монашески-истовое отношение к избранному поприщу, елейно-заносчивый внешний вид, нарочно низведенный до некоторой неопрятности. Я презирал их, потому что не хотел быть таким же, а таким же быть не хотел потому, что знал: какая-то часть моей души на это просто не способна, другая же жаждет лишь одного – быть сделанной из того же теста.

В часы, свободные от работы в библиотеке, я поднимался наверх, на террасу на крыше моего дома, и загорал – брал шезлонг, плавки, сигареты, книги и бесконечную череду разбавленных водой «Томов Коллинзов», которые старательно смешивал заново каждые пару часов у себя в квартире, располагавшейся прямо под террасой. Поздней весной, в конце факультетского празднества, я прихватил из зала огромную бутылку «Бифитера» – ее предстояло растянуть еще надолго. Я читал и слушал музыку. Часто рядом со мной устраивалась парочка, они тоже читали и пили. Она – в бикини, любила иногда поболтать. Именно она познакомила меня с Джоном Фаулзом. Я познакомил ее с «Томом Коллинзом». Иногда она приносила печенье или нарезанные фрукты. Там, на террасе над четвертым этажом, с видом на Кембридж, мне только и оставалось, что тарашиться в книгу, вдыхать запах лосьона от загара и в тишине будничного утра прямо здесь, на Конкорд-авеню, уноситься мыслями прочь и представлять себе, что я наконец-то лежу на пляже на Средиземном море или в моей давно утраченной Александрии, про которую я знал, что никогда более не ступит туда мой взгляд, разве что во сне.

Иногда я предлагал другой своей соседке, которая тоже готовилась к устным экзаменам, долить при очередном походе вниз воды в ее бутылку со льдом. Она соглашалась, и мы несколько минут разговаривали. Мне нравились ее блестящие от загара плечи и стройные голые ноги. Но завести беседу я не успевал – она снова погружалась в чтение. Не слишком у меня музыка громкая? Не, нормально. Ей точно не мешает? Да нет. Квартиру 42 я явно совсем не интересовал. Квартира 21, которая тоже иногда приходила позагорать, была поразительнее, но она жила вместе с сестрой-близняшкой, и иногда до меня доносились звуки их скандалов – в жизни не слышал, чтобы люди так гнусно друг друга оскорбляли. Лучше не встречать – хотя мысль о разом двух близняшках в одной постели меня неизменно возбуждала. Квартира 43, моя непосредственная соседка, уже обзавелась молодым человеком – этим и объяснялось, почему она на поверхностном уровне была столь любезна. По утрам они куда-то выходили вместе: наглядное воплощение самых здоровых отношений на свете. Она сопровождала его до Площади, там он садился на поезд в Бостон, а она разворачивалась и вместе с их колли возвращалась через Кембридж-Коммон. Мы с ними жили на одной лестничной площадке, дверь их кухни была напротив моей. На завтрак они любили жарить блины. Иногда ко мне в кухню вливался запах их завтрака, особенно когда я открывал свою наружную дверь, а они оставляли открытой свою, чтобы проветрить, – тогда-то я и видел его в трусах, ее – в пижаме. По выходным они жарили бекон и французские тосты. Упоительный был запах. В нем ощущались семья, домашний очаг, дружба, семейное счастье. Люди, которые жарят себе французские тосты, живут с другими людьми, любят других людей, понимают, почему люди нужны друг другу. И трех лет не пройдет, как они обзаведутся детишками. По субботам он иногда уезжал на работу. Попозже она поднималась на террасу в своем бикини, радуясь возможности

поболтать, приносила полотенце, лосьон от загара и всегда – книгу какого-нибудь английского автора. Знала ли она, что по ночам мне слышны ее страстные вскрики? Наверняка знала.

Воскресным утром, шагнув на террасу на крыше с шезлонгом в руке, она одаривала улыбкой всех, кто там уже расположился, – довольная, лукавая и застенчивая. Она хотела, чтобы я знал, что она знает, что я знаю. Но на этом все и заканчивалось. Когда, оторвавшись от книг, я предлагал принести ей «Том Коллинз», она с улыбкой отказывалась – как обычно довольная, лукавая и застенчивая. Она знала, о чем я думаю.

В будни мне нравилось смотреть в окно, как они уходят. Жизнь их обладала безупречной круглотой. Моя вся была в приметах проходной неприкаянности. Они уходили, возвращались, я же сидел на одном месте, загар мой делался все смуглее, скука все невыносимее. Делать целыми днями было нечего, только читать. Я не преподавал, уроков давал мало, не писал, у меня даже не было телевизора. С удовольствием бы съездил куда-нибудь покататься. Но ни у одного из моих знакомых не было машины. Кембридж превратился в обнесенную оградой, отгороженную от мира полосу выжженной земли.

Именно там, на террасе на крыше, я решил за полгода перечитать все, что мне нужно для квалификационного экзамена по литературе XVII века. До середины января еще было далеко, но по ночам казалось – это совсем скоро. Закончив очередную книгу, я обнаруживал, как много еще нужно прочитать или перечитать. Я поставил себе цель: две книги в день. Французских прозаиков я за день читал по три. Елизаветинцев, якобитов и прозаиков эпохи Реставрации – ровно по две в день. Но потом пошли малые испанские авторы, итальянские прозаики – эротические повести и пикарески одна за другой, пока не создалось впечатление, что вся история европейской литературы написана П. Г. Вудхаусом, подсевшим на стероиды. Наконец, немецкая и голландская проза. В этой точке было принято простое решение: если я их уже не читал, они не были написаны вовсе. Так же я обошелся и с самыми великими сплетниками французского королевского двора: ничего не запомнил – значит, книга бессмысленная. При этом «Письма португальской монахини» и «Дона Карлоса» я перечитывал неоднократно, неизменно восхищаясь их блеском, придававшим мне надежду. Я прорубал себе путь сквозь книжные джунгли, изворотливо изобретая хитрые способы избежать укоров совести всякий раз, когда понимал, что пропустил важное произведение. Не совсем научная работа – но под палящим летним солнцем, вдыхая почти гипнотический запах лосьона для загара и глядя на все эти ляжки, распростертые на рубероидном пляже, я и не мог просить о большем.

Мой научный руководитель профессор Ллойд-Гревиль, доблестный специалист по XVII столетию, принял меня на кафедру с большой надеждой. Он постоянно выискивал для меня какую-то финансовую помощь и когда-то ожидал, что квалификационные экзамены я одолею с доблестью – этакий Гарун-аль-Рашид, перескочивший через живую преграду. При мне он постоянно поминал Гаруна, то ли потому, что Гарун, как и я, был родом с Ближнего Востока, то ли потому, что Гарун был не только великим воином и государственным деятелем, он был еще и покровителем наук и искусств – всем тем, к чему стремился и Ллойд-Гревиль. При этом я даже приблизительно не представлял себе, что он думает обо мне или о Гаруне. Ллойд-Гревиль родился, вырос и выучился в Гарварде, был таким образцовым ученым и по стечению обстоятельств – специалистом по Йейтсу. Я так и воображал себе, как постучу ему в дверь после повторной сдачи экзамена и услышу, как он произнесет, с этой его царственной улыбкой, за которой последует извечное покашливание, посредством которого он прочищал горло, прежде чем выдать одно из своих лапидарных изречений: что, мол, на сей раз я, к величайшему его прискорбию, точно опоздал на судно в Византию. «Даже третьим классом?» – осведомлюсь я. «Даже третьим классом», – подтвердит он. «А как насчет днища трюма, там, где путешествуют бывшие каторжники и безбилетники?» «Даже и днище трюма», – разочарует он меня, нацепит на лицо эту свою «с прискорбием вынуждены заявить» улыбочку и навинтит колпачок на ручку «Монтеграппа», которой только что подписал мне смертный приговор.

Другой мой научный руководитель, профессор Чербакофф, относился ко мне мягче, но он никогда бы не дерзнул поставить мне положительную оценку без санкции Ллойд-Гревилья. Я знал, что он весьма ко мне расположен, при этом его отеческая забота сделалась явственно назойливой. Он тоже был еврейского происхождения, из-за войн и политики семья его лишилась во Франции всего. Вернувшись во Францию студентом после войны, он испытал такой ужас, что возблагодарил судьбу, когда несколько лет спустя нашел место в Штатах и распростился с Францией навеки. Он служил живым отрезвляющим напоминанием о том, что Франция – Франция, о которой я грезил, когда уже не оставалось больше о чем грезить, – либо и вовсе химера, либо никогда не откроет мне свои двери.

Ллойд-Гревилья, напротив, Францию обожал. Ему принадлежало поместье XVI века постройки в Нормандии. Легендарное изображение этого поместья в кожаной раме – предмет пересудов всего факультета – размещалось у него в кабинете: жена, две дочери, горничная, повар, садовник, собака и две-три положенные по статусу коровы, разлегшиеся на холмах вдалеке. «Да, совершенство», – подтвердил он однажды, когда, сидя у него в кабинете и желая его улестить, я долго смотрел на картину, а потом сказал, что и дом, и жизнь его – полное совершенство. Чербакоффу никогда не хватило бы душевной отваги со мной согласиться – по крайней мере, с той же готовностью. Он прекрасно понимал мои нынешние переживания, знал, как сомнения в самом себе подтачивают душу, пока оболочка ее совсем не истончится, став таким перышком луковой шелухи. Он хотел, чтобы я пошел по его стопам: еще одна причина, по которой я его избегал.

Обычно, досидев на крыше до часу дня, я достаточно заряжался энергией, чтобы почитать этак часик у себя в квартире. Мне нравилось, что внутри темно и попрохладнее. Потом я отправлялся в библиотечку, где работал, – и там читал дальше. После бродил вокруг Гарвардской площади в поисках еще какого-нибудь места, лучше всего – зала в кафе, за ним следовало еще одно место, иногда и еще, а потом я ложился спать.

Прямо сейчас от стихий меня отделял вентилятор в кафе «Алжир» – так же как от моего лишнего кормила лета меня отделяли два тома «Опытов» Монтеня, которые я обещал Ллойд-Гревилью прошерстить, опыт за опытом. А после этого перечитать Паскаля. Что до новелл, вышедших из-под пера самых недалеких лавочников Европы, я решил применить к ним ими же задекларированный метод: как придется.

В кафе «Алжир» можно было проваландаться хоть целый день. То было крошечное тесное полуподвальное заведение на Гарвардской площади, куда вмещалось не больше дюжины колченогих столиков – выглядело оно как миниатюрная касба, что вот-вот прольется на пол. Как они умудрились втиснуть столько узких шатких столиков, стульев, гигантский старомодный автомат для эспрессо плюс кухню в одну десятую необходимого для этого пространства, постигнуть я был не в силах. Видимо, владелец был инженером по образованию, успевшим потрудиться еще и поваром, кассиром, официантом и посудомойкой. Здесь подавали кофе, соки, лепешки с начинкой, пирожные. В хорошую погоду «Алжир» развешивал еще и крошечную зону *alfresco*, на такой с виду как бы террасе, которая на самом деле была узким проходом между Брэтл-стрит и баром «Касабланка», на пути к Маунт-Оберн-стрит. Люди часто ставили свои машины прямо за баром.

За все выходные я ни словом не перекинулся ни с единой душой. На дворе воскресенье, все закрыто, я блуждал из одной кофейни в другую. Уже давно перевалило за полдень. Еще один такой же знойный уик-энд – и я увяну, и никто меня не хватится, никто и знать-то не будет. Я поймал себя на том, что думаю про парочку из Квартиры 43. Она сказала: к ним придут гости на ужин. Гаспачо, бараньи отбивные и бог ведает что еще – вино, вечное вино. Он любит готовить. Она любит британских прозаиков. После ужина они будут мыть и вытирать посуду

на кухне, он игриво толкнет ее бедром в бедро – я однажды уже видел, как он это проделывает внизу: он стоял с ней рядом, а она страшно копалась, опустошая почтовый ящик. Зачем он ее толкнул – в шутку или просто чтобы сказать: «Давай поживее!»? На их почтовом ящике значились две фамилии. Скоро будет одна.

В тот день я читал «Апологию Раймунда Сабундского» Мишеля Монтеня, сидел в относительно тихом уголке кафе «Алжир» и пил кофе со льдом, которое рассчитывал растянуть как минимум на два с половиной часа. Смаковать напиток – это одно. Смотреть, как тают кубики льда и он, разжижаясь, превращается в бесцветный суп, а ты при этом делаешь вид, что у тебя все еще осталось полстакана, – это все равно что пытаться сохранить снег на полярных вершинах с помощью бумажного веера.

И тут я услышал его голос. Он сидел за столиком неподалеку и говорил по-французски. Поправка: не говорил. Он не умел говорить: он строчил из пулемета, выпускал то короткие очереди, то подлиннее. Тра-та-та. Дерганные, прерывистые, безумные, перескакивающие с предмета на предмет – неважно какой, главное – не останавливаться. Тра-та-та, будто блендер перемалывает осколки стекла. Тра-та-та, как отбойный молоток, бензопила, электродрель – каждый слог напитан ядом, яростью, неприятием.

Я понятия не имел, кто он такой, о чем именно говорит, почему говорит все громче, но в этом полуподвальном кафе тихим воскресным днем середины лета это был единственный голос, который было слышно.

– Oui, oui, oui – тра-та-та. Bien sûr, bien sûr – тра-та, тра-та-та. Et pourquoi pas?¹ – тра-та-та-та?

Длинные фразы, произнесенные с точностью выстрелов в цель; вокруг него расположились сигареты, салфетки, спички, дешевая зажигалка, ключи от квартиры, ключи от машины, мелочь, оставшаяся от предыдущей чашки кофе, прежде чем он надумал заказать вторую, а потом и третью, – мусор, беспорядочно раскиданный по столу, точно гильзы, выплюнутые его истерическим автоматом. Тра-та-та, которыми он ниспровергал цивилизации, западную и восточную, без разбора, обе терпеть не могу, капиталистов и коммунистов, либералов и консерваторов, Старый Свет, Новый Свет, Лигу Наций, Арабскую лигу, Лигу женщин-избирательниц, Католическую лигу, Великую китайскую стену, Берлинскую стену – все на снос! Белых, черных, мужчин, женщин, евреев, геев, лесбиянок, богатеев, бедняков, кошек, собак – песчаная буря проклятий на явственно североафриканском французском: так в сонный средиземноморский полдень цикады топят все прочие звуки в шершавом трении своих задних лап.

В данный момент он бушевал по поводу белых американцев – les amerloques, как он их называл. Зажравшимся американцам все подавай в виде эрзаца, говорил он. Ни одна белая американская домохозяйка не устоит, если ей предложат нечто искусственное за половинную цену при условии, что покупаешь в пять раз больше, чем тебе надо. Их континентальный завтрак – эрзац для зажравшихся, их безразмерный стейк на ужин с этими ешь-сколько-влезет салатами – эрзац для зажравшихся, их кофейные кружки – пей-сколько-хочешь, доливай бесплатно, их ополаскиватель для рта из искусственной мяты, к которому бесплатно прилагается несколько зубных щеток, их машины, торговые центры, университеты, даже эти их монструозные телевизоры и выпендренные широкоэкранные эпосы – все это эрзацы для зажравшихся. Американки с их грудными имплантами, переделанными носами и круглогодичным заггаром – зажравшиеся эрзацы. Американки с грудями поменьше, контактными линзами, аэрозолями для рта, аэрозолями для волос, аэрозолями для носа, аэрозолями для ног, аэрозолями-одеколоронами, вагинальными аэрозолями – такой же эрзац, что и их зажравшиеся сестры. Американки, у которых вся радость – подыскать мужчину, с которым можно поговорить в переполненном кафе в середине летнего дня в Кембридже, штат Массачусетс, тоже рано или поздно оказы-

¹ Да, да, да... Конечно, конечно... А чего нет-то? (франц.)

ваются зажавшимися эрзацами. Их тощие веснушчатые отпрыски-трехлетки, которых кормят пресным, эрзац-безвкусным эрзац-белым хлебом и укутывают в синтетическую, безразмерную, нелиняющую одежду массового, поточного, конвейерного производства, – такой же безвкусный эрзац, как и их дебелые, рослые, откормленные на фастфуде здоровенные мужики-футболисты в огромных ботинках, с увеличенными пенисами и мощными восьмикубиковыми, похожими на стиральную доску брюшными прессами, в которых воплощена сущность всего, что есть зажавшегося и синтетического на этой богом забытой планетке.

Это, как я вскоре убедился, представляло собой его стандартный репертуар во всех случаях, когда ему удавалось заарканить слушателя. Он начинал с Первого мира, добирался до Второго, потом до Третьего, пока не изничтожит всех находящихся в виду голозадых дикарей из тропического леса и не бросит уцелевших на растерзание гуннам, где им, собственно, самое место, или османам, которые уж придумают, как с ними поступить, или, хуже того, иезуитам, которые пропоют молитву, прежде чем сжечь их заживо и превратить их детишек в миссионеров.

Ему вряд ли кто дал бы больше тридцати четырех: на нем была линялая камуфляжная куртка со множеством карманов, и он с магрибским акцентом обращался к бородатому студенту-американцу, явственно пытавшемуся закосить под Хемингуэя. Американец время от времени решался вставить какую-нибудь блеклую банальность на приемлемом французском, пока Рот-Пулемет переводил дух и неспешно отхлебывал из кофейной чашки, которую держал за бортик, ибо ручка на ней отсутствовала.

– Не следует обобщать всех американцев, – заметил Молодой Хемингуэй, – равно как и утверждать, что все женщины такие или вот такие. Каждый человек уникален и самобытен. А еще я не согласен с тем, что вы говорите про Ближний Восток.

Пулемет откинулся на спинку стула, сворачивая дцатую самокрутку, облизал пропитанный клеем край заправки, прежде насыпав в середину табака, и, точно ковбой, только что прокрутивший барабан револьвера, после того как тщательно его зарядил, ткнул в опешившего юного американца вытянутым указательным пальцем, едва не коснувшись его виска: того еще явно никогда не тыкали в голову пальцем, а уж заряженным револьвером и тем более.

– Вы только то и знаете, что несетя из ваших газет и вашего *сыраного* телевизора. А у меня свои источники.

– Какие источники? – понаведалься бородатый американец, который начинал напоминать обробевшего пророка, надумавшего пререкаться с Самим Господом Богом.

– Другие источники, – отрубил североафриканец. Возможности переспросить молодому человеку не выпало – снова, будто в первый раз, раздалось хорошо смазанное, пригнанное, заново собранное и заряженное, громче и отчетливее прежнего: тра-та-та-та-та-та-та-та.

Я и раньше не раз слышал его голос в кафе «Алжир», но в это воскресенье, сильно за полдень, отрывистую дробь его речи просто невозможно было игнорировать. Я понял: он сознает, что на него смотрят. Он делал вид, что не замечает, но было ясно, что он тщательно подбирает слова и старательно разыгрывает спектакль, точно человек, который, беседуя с вами, поглядывает через ваше плечо в зеркало у вас за спиной, чтобы удостовериться, что у него волосы не растрепались. Речь его сделалась чуточку слишком старательной, такими же были и жесты, и форсированные раскаты взрывного несдерживаемого смеха. Ему явно льстило, когда окружающие гадали, кто он такой. Я в жизни еще не видел ничего подобного. Примитивный – и при этом полностью цивилизованный. Он в аристократической манере закинул ногу на ногу – при этом вид, одежда, волосы выдавали этакое бандюгана.

Вдруг голос его зазвучал снова. Тра-та-та.

– Американки как прекрасные поместья с прелестными интерьерами и дивными произведениями искусства, но только там свет погашен. Американцы не рождаются, их произво-

дят. Форд-эрзац, крайслер-эрзац, бьюик-эрзац. Я всегда знаю заранее, что скажет американец, потому что они мыслят одинаково, говорят одинаково, трахаются одинаково.

Молодой Хемингуэй выслушивал эту тираду, пытаясь тут и там ввернуть словечко, дабы придать диатрибе осмысленность, однако остановить поток инвектив, вылетающих, будто пули из автоматного магазина, представлялось невозможным. Скорострельный автомат Калашникова, Солдат Джо прячется за бруствер, пули свистят над головой, под ногами рвутся закопанные в землю мины, вокруг повсюду – бессмысленные разрывы и очереди. Отволтузив слабый пол, он переключился на человеческую алчность, мормонов, официантов-мексиканцев, которые по причине нищенской зарплаты воруют еду, стоит владельцу заведения отвернуться, потом досталось НАТО, ЮНЕСКО, Набиско, Чаушеску, Табаско, Ламбруско и еще невесть кому – все они бесспорные и бесстыдные признаки того, что мир обезумел и превратился в полный эрзац. В жизни своей не слышал столь оголтелого агитпропа. Американского президента он обозвал le Boy Scout.

– Итальянцы все бессовестные хапуги. Французы готовы продать своих матерей с женами и сестрами в придачу, но первым делом они вам продадут своих дочерей. Что до арабов, нам куда слаще жилось под колонизаторами. Единственный, кто хоть что-то понимал в истории, это Нострадамус.

– Кто?

– Нострадамус. – За именем последовала литания из катренов, предрекающих одну катастрофу за другой. – Нострадамус и миф о вечном возвращении.

– Вы имеете в виду Ницше.

– Я же сказал: Нострадамус.

– А откуда вы знаете про Нострадамуса?

– Откуда я знаю! – возмутился он риторически. – Знаю – и все, окей? Или научить вас всему, что я знаю?

Я так и не понял, что это: дружеское подначивание или комическая перепалка, готовая перерасти в настоящую свару, то ли высокооктановый Макбет, то ли сомнамбулическое бормотание Владимира и Эстрагона.

Настал момент, когда я не выдержал. Встал и подошел к их столику.

– Простите, невольно вас подслушал. Вы здесь учитесь? – спросил я по-французски.

Никакого ответа. Лишь неприветливое качание головой, а сразу следом – этот его зловеще буравящий взгляд, в котором кроется вопрос: «А если и да, оно тебя вообще касается?».

Я хотел пояснить, что уже двое суток не говорил ни с одним человеком, тем более по-французски, а с Квартирами 42, 21 и 43 обменивался лишь взглядами издали, и, если честно, сидеть каждый день на крыше губительно для души, а есть в одиночестве ничем не лучше, не говоря уж об этой водянистой жиже, которую они тут называют кофе. Но сносить повисшее молчание было тяжело, потому что сопровождалось оно откровенно враждебным взглядом. Я приготовился было извиниться и откланяться, сказав, что не хотел прерывать их разговор, думая про себя, что нужно было соображать, прежде чем кидаться к совершенно незнакомым людям и рассчитывать на непринужденную беседу с бандюганом и его приспешником.

Прежде чем вернуться к своему столику, я неожиданно обронил:

– Простите, что побеспокоил. Просто очень хотелось поговорить с французом.

Еще один взгляд.

– Это я-то француз? Ты чего? Совсем ослеп? Или оглох? С моей-то берберской шкурой? Сюда смотри, – с этими словами он ущипнул себя за предплечье. – Это, друг любезный, не французская шкура. – Можно подумать, я его обидел. Он явно гордился своей берберской кожей. – Это тебе цвет золота и пшеницы.

– Простите, ошибся.

Я твердо решил вернуться к своему столику и взяться за Монтеня, которого оставил лежать корешком кверху.

– А сам-то ты француз? – осведомился он.

Я не сдержался.

– С моим-то носом?

Он со мною явно забавлялся. Я знал, что он не француз, как и он наверняка с первых же слов догадался, что я не француз. Мы оба вроде как давали друг другу возможность подумать, что способны сойти за французов. Невысказанный комплимент, который в обоих случаях достиг цели.

– Ежели не француз, чего же по-французски говоришь?

Ответ на этот вопрос знает каждый человек, родившийся в колониях. Он явно забавлялся.

– По той же причине, по какой вы говорите по-французски, – ответил я.

Он расхохотался. Мы прекрасно друг друга поняли.

– Еще один из наших, – пояснил он Молодому Эрнесту, который все пытался допетрить, в чем может состоять роль Нострадамуса в сложных современных геополитических конфликтах.

– Это вы про что – «один из наших»?

– Il ne comprend rien du tout celui-là, этот тип вообще ни во что не врубается, – заметил он, и в голосе потрескивала привычная насмешливая враждебность.

Мы представились.

– Меня можешь звать Калаж, – сказал он, как будто соглашаясь на общепризнанное прозвище, которое и сам предпочитает собственному имени, однако в голосе его был скрытый намек на то, что Калажем его можно звать «пока» – то есть до того, как он узнает тебя поближе.

Он здесь всего полгода. До того жил в Милане. А теперь дом здесь.

Он швырнул в меня слово по-арабски.

Я швырнул обратно другое.

Мы расхохотались. Мы не испытывали друг друга, скорее прощупывали почву, получится ли перекинуть по ней хлипкий понтонный мостик.

– Выговор безупречный, – прокомментировал он. – Пусть и как у араба-египтянина.

– А ваш определить непросто.

– Я редко говорю по-арабски, – пояснил он, а потом спросил: – Еврей?

– Мусульманин? – откликнулся я.

– Все вы, евреи, такие: вместо ответа – вопрос.

– Все вы, мусульмане, такие: отвечаете на вопрос, но не тот.

Мы оба покатывались со смеху, а Молодой Хемингуэй растерянно на нас тарашился, явно ошалев от наших подначек и псевдорелигиозных оскорблений.

– Зачем лавочник-араб купил у еврея пятьдесят пар джинсов?

– Понятия не имею.

– Потому что Исаак пообещал Абдулу купить их обратно за более высокую цену.

Хохот.

– А с какой стати Исааку покупать их обратно?

Ответа на это я тоже не знал.

– Потому что араб согласился продать их за полцены.

– И что, араб потом еще покупал джинсы у еврея? – осведомился я.

– Всю дорогу! Джинсы, видишь ли, были египетского производства и обходились арабу в малую долю того, что еврей заплатил за них изначально.

Мы покатались со смеху.

– Ближний Восток! – заявил он.

– В каком смысле «Ближний Восток»? – поинтересовался сбитый с толку Хемингуэй.

Калаж сделал вид, что не услышал вопроса.

– Ты тут ждал кого? – понаведался он.

– Нет, просто читал.

– Сколько вон уже часов читаешь. Давай, присаживайся к нам, поболтаем. И книги свои тащи.

Выходит, он давным-давно обратил на меня внимание. Рассказал мне про свое такси. Я рассказал про грядущие экзамены. Мы беседовали. Беседа – это то, чем у людей принято заниматься в обществе друг друга, это естественный процесс. По воскресеньям в середине дня люди беседуют, смеются, пьют кофе. Я почти позабыл, как это делается. Я и оглянуться не успел, а он уже заказал нам всем троим по кофе.

– Беседа – дело хорошее, но должен же кто-то заказать кофе, – заметил он.

Этими тремя чашками – а произошло это так быстро, что я и заметить-то не успел, – он, похоже, меня поприветствовал. А это феерическое существо не лишено доброты, подумал я. При этом он лукавый, вздорный и ненормальный. Держись от него подальше.

А я вот совсем не такой. Интерес к другим людям рождался у меня вполне естественным образом, однако окольным путем, с таким количеством поворотов, препятствий, сомнений и отступлений, что на полдороге к дружбе во мне неизменно поселялись растерянность и разочарование, и какая-то часть души попросту говорила: хватит.

Калаж продолжал громить американок. Рассказал неприличный анекдот про араба, которого арестовали и отмузузили в полиции за то, что он взгромоздился на обнаженную блондинку, загоравшую на пустом пляже в Северной Африке. Его заковали в наручники, накостыляли ему еще и обвинили в осквернении трупа: «Ты что, не видел, что она мертвая?» – орет один из полицейских, а араб только тем и может оправдаться, что орет в ответ: «Гражданин начальник, я думал, она американка».

Калаж указывал пальцем на посетительниц кафе. Вон та с ним больше не разговаривает, потому что он отказался предохраняться. Вон та, которая со своим ухажером, однажды его отшила так: «Пожалуй, к вам я недостаточно расположена». Он в жизни еще не слышал подобной эрзац-говорильни и нам эти слова повторил так, будто выпевал какое-то инопланетное ритуальное заклинание: «Пожалуй, к вам я недостаточно расположена». На его зачаточном английском в этой фразе вдруг всплыло то, что она содержит на самом деле: паточная пустота, искусственность, в которой подлинной страсти и эротики – как в куске клеенки или пластмассовой столешнице. Он указал на высокую стройную красотку со сногшибательной фигурой.

– Она думает, я с ней сейчас заговорю, но я за ней следил: то и дело шастает в сортир. Жить не может, не посещая туалета. Нужна мне такая!

– В каком смысле «нужна мне такая»? – вмешался Молодой Хемингуэй, которого эта беспардонная мизогиния, похоже, ввергла в ярость.

– А в таком, что я бы ее не стал *никать* даже твоим *зебом*².

Он, как всегда, успел рассмотреть всех женщин в кафе.

– Они тут по одной-единственной причине, и причина эта – мы трое. – Молодой Хемингуэй осведомился, чего ж он ни одну не подсчет, раз так в этом уверен. – Рановато пока.

Такие разговоры я слышал только от рыбаков. Они смотрят на небо, прикидывают, чего там с ветром и облачностью, у них на все есть шестое чувство, а потом, в самый для вас неожиданный момент, они говорят: «Пора!» Стройная красавица как раз бросила взгляд на наш столик. Калаж захихикал в голос, с полной беспардонностью.

– Поглядела!

Мы отметили, что по лицу ее прошла рябь улыбки.

² Зеб – мужской половой член (*вульг. араб.*). Со вторым словом все ясно по контексту.

Во Франции существует два вида женолюбивых праздношатающихся: *fâneurs* и *dragueurs*. Как делается понятно почти сразу, *la drague* – перемещение туда-сюда – это не хобби, не наука, не искусство, даже не вопрос везения или невезения. В случае Калажа речь шла о точнейшем совмещении воли с желанием. Женщин он желал с такой напористостью, что ему и в голову не приходило, что кто-то из них может и не испытывать ответного желания. Все испытывают. Спроси его лично – все женщины хотят всех мужчин. И наоборот. Единственной преградой между любым мужчиной и любой женщиной в кафе «Алжир» являются пяток стульев, столик, возможно, дверь – материальная дистанция. Все, что мужчине нужно, – это воля, а главное – умение переждать женские капризы или помочь ей от них отделаться. Как и в игре в пенни-покер, объяснял он, главное тут – очень простая вещь: постоянно повышать ставки на один пенни: на один, не на два; один пенни – безделица, вы ничего даже и не почувствуете. При этом нужно дожидаться, когда и она начнет повышать на пенни и ваши ставки, – а тогда ставьте еще пенни, она поставит свой и так далее. Соблазнять – не значит заставлять человека делать то, чего он делать не хочет. Соблазнять – значит подкидывать один пенни за другим. Если они у вас закончились, то вы, точно фокусник, щелкаете пальцем и вытаскиваете следующий из ее левого уха, с элементом комизма, добавляя смеха в общий котел. Однажды утром я лично наблюдал, как на протяжении четверти часа он предложил женщине *cinquante-quatre* – чашку кофе за пятьдесят четыре цента, включая налоги, – после этого обнимал ее за талию всякий раз, как она прыскала от смеха, а потом ушел с ней вместе.

– Только не поймите меня неправильно. В итоге все равно женщина вас выбирает, а не наоборот, – женщина всегда делает первый шаг.

– А что там про ставки по одному пенни раз за разом? – не сообразил Молодой Хемингуэй.

– А это полная ахиня, – поведал Калаж.

– А Нострадамус?

– Такая же ахиня.

Приятель его встал и направился в уборную, фыркнув:

– Ишь ты, Нострадамус!

Едва он отошел от столика, как Калаж объявил:

– Терпеть не могу этого типа.

– А я думал, вы друзья.

Он снова презрительно фыркнул.

– С его-то мордой? Ты серьезно?

Тут Калаж вдруг надул губы, взгляделся в свою чашку, явно оценивая ее форму, а потом начал медленно крутить ее на блюдечке. Я не сразу сообразил, что он делает. Он передразнивал манеру Молодого Хемингуэя осмыслять каждый изреченный им, Калажем, слог. Я расхохотался. Засмеялся и он.

В кафе «Алжир» его прозвали Че Геварой или *el révolutionnaire*, но чаще всего называли Калаж – кстати, это было сокращенное от «Калашников». «Калажа видали?» Или: «Калаж поносит мужское братство в “Касабланке”». Имелось в виду, что он ругает политиков в самом популярном кембриджском баре. Или: «Калаж скоро должен прийти, уже почти *l'heure du thé*, время пить чай», – язвил кто-то из завсегдатаев, насмехаясь над тем, что в этом типе нет ничегошеньки от ритуальной цивильности английского файв-о-клока. Иногда было слышно, как он с кем-то препирается еще по дороге в кафе – неизменно громко и задиристо. «Наш солдатик идет», – откликнулась на это одна из официанток. Если ему сказать, что не стоит столько скандалить, он немедленно обижался и рявкал: «А я не скандалил».

– А как это называется?

– Я так разговариваю. По-другому не умею, и все. Такой уж я человек.

После чего он начинал изрыгать еще более громогласные возражения: он вам не какой-нибудь долбанутый эрзац-американец, которому вынь да положь его личное пространство. И не слабодушный мямля из разряда «ты занимайся своим делом, я своим, и давайте все жить дружно»: таких в барах и кофейнях на Гарвардской площади пруд пруди. «Я не такой», – повторял он с напором, как будто произносил упрощенный вариант сложного силлогизма, который подцепил много лет назад по ходу краткого курса самоподачи, самовыражения и злословия в каком-нибудь кофейнишке для работяг на рю Муфтар в Париже, где прозвище твое проставлено у тебя на лбу, на одежде и на пятках. «Все, что я есть, все, что я чувствую, написано у меня на лице. Я – мужик, понял?»

Он был большим мастером на безвкусную экзистенциальную чушь и старомодные клише, которые раздавал, точно бессмысленные листовки, в которых блеска довольно только на то, чтобы воодушевить очередное поколение прожженных вояк с бог ведает какого поля боя: готов на все, чтобы произвести впечатление на женщину, которая в данный момент прислушивается к разговору.

К разговорам его большинство женщин действительно прислушивались. Даже в тот первый день, когда я увидел его в кафе «Алжир», они прислушивались изо всех углов. У меня же ушло много недель на то, чтобы сообразить: все, чем он являлся, что говорил и делал, было направлено на достижение одной цели – возбудить интерес в женщине, в какой – неважно. Это был чистый спектакль, все об этом знали и все ему подыгрывали. Самоподача через представление, спасибо за ваши уроки, кафе «Муфтар». Случалось, для самоподачи хватало одного лишь костюма. А что касается ярости, то она, как и страстность, как и смех, как и самые твердые его убеждения, оставалась в итоге чистым спектаклем.

Иногда.

Иногда, предотвратив едва ли не потасовку между ним и Муму, алжирским завсегдаем кафе «Алжир», я подсаживался к нему поближе и пытался разрулить ситуацию всякими незамысловатыми фразами вроде: «Он ничего такого не имел в виду». «А я имел в виду все до последнего слова», – отзывался он, возвышая голос, будто чтобы начать препираться и со мною. С ним нужно было проявлять терпение, тут слегка уступил, там слегка урезонил, оставил ему пространство для маневра, чтобы он выпустил пар, потому что пар, газ и дым в нем скапливались в избытке. Зейнаб, официантка, тоже из Туниса и тоже с тем еще темпераментом, особенно в отношении клиентов, которые скупилась на чаевые, или просили слишком часто наполнять им посуду заново, или требовали от скудного местного меню разнообразия за пределами того, что она в состоянии была упомнить, превращалась в самую любезность, когда видела, что он затевает очередную свару с очередным завсегдаем. «Oui, mon trésor, oui, mon ange, да, мое сокровище, да, мой ангел», – нашептывала она снова и снова, будто приглашая загривок ошестившегося кота, только что увидевшего злую собаку. Когда на него находил такой стих, спорить с ним было бессмысленно, оставалось только увещевать и любезничать. «Я понимаю, что ты чувствуешь, прекрасно понимаю, – твердил я, пока не наступал момент, когда уже можно было воззвать к разуму. – Но с чего ты взял, что он имеет в виду то, что говорит?» – нашептывал я. «Знаю, и точка, оке?» «Окей», которое он произносил так: «Оке», означало: «Спор окончен. Больше ни слова. Врубился?» Я не всегда знал, как его укротить. С помощью своего «оке» он порой пресекал то, что могло закончиться потасовкой между нами. «Почему ты так уверен?» – нашептывал я, пытаюсь все-таки донести до него свою мысль и показать, что мы-то с ним точно не станем препираться, а одновременно подталкивая его к тому, чтобы взглянуть на вопрос (как это называют во всем остальном мире) «с другой точки зрения» – понятие ему решительно чуждое. В его мире не было, да и не могло быть другой точки зрения. Если нам не удавалось прийти к консенсусу, он отворачивался и говорил: «Брось ты это дело, я сказал». Молчание. Он уходил заказывать пятую чашку кофе. «Брось. Я. Сказал», – повторял он снова.

Дабы подчеркнуть молчание, которое уронил между нами подобно гире, он тихонько брал стоявшую перед ним пустую чашку, извлекал оттуда ложку – ее он всегда оставлял внутри, пока пил кофе, – и аккуратным, просчитанным движением опускал на блюдечко, как бы расставляя все по ранжиру и привнося порядок в свою жизнь. Тем самым он будто бы говорил: «Я пытаюсь взять себя в руки. Не следовало тебе говорить то, что ты сказал». А через миг опять сыпал смехом и шутками. Значит, в кафе вошла женщина.

В кафе «Алжир» Калаж всегда садился на одно и то же место. За центральный столик – не только чтобы его видели, но и чтобы и самому наблюдать, кто входит, а кто выходит. Ему нравилось внутри, он никогда не устраивался снаружи и, как почти все уроженцы Средиземноморья, предпочитал тень солнцу. «Вот тут у нас Калашников занимает позицию, целится и стреляет», – пояснял Муму, который, как и Калаж, был водителем такси и любил его поддразнивать: алжирцы и тунисцы вообще любят подначивать друг друга, пока эти издевки не опустятся до полномасштабной словесной перепалки – а это происходит неизменно, если один, или другой, или оба взбесятся. «Он либо сидит здесь со своим “калашом” между ног и выжидает, пока ты сделаешь неверное движение, и тогда он тебя выкурит, выдворит, а потом, когда ты этого уж вовсе не ждешь, заморочит до полусмерти жалобами на своих женщин, свою визу, свои зубы, свою астму, свою монашескую келью на Арлингтон-стрит, где квартирная хозяйка не позволяет ему приводить женщин наверх, потому что они у него кричат, – я что-то пропустил? “Калашников” с безотказным ночным прицелом. Скажи, куда стрелять, – и он выстрелит». Скандалы между ними разгорались легендарные, эпические, оперные. «У меня глаза как у рыси, память как у слона, чутье как у волка...» – «...и мозги как у тапира», – присовокупляла его алжирская Немезида. «Ты же, напротив, – рывкал в ответ Калаж, – невзрачный и кусачий как скорпион, вот только ты бесхвостый скорпион, нет у тебя ядовитого хвоста: колчан без стрел, скрипка без струн – продолжать или ты усек общую идею?» – этими словами он намекал на всем известную неспособность алжирца добиться эрекции. «Этот скорпион, по крайней мере, способен кого угодно вознести на вершину горы – можешь сам поспрашивать, – а с тобой им только и светит, что перевалить через какую кротовину, взвизгнуть для приличия, чтобы смутить мирный сон квартирной хозяйки, – и по второму разу на то же самое не напрашиваться. Если хочешь, могу продолжить...» – в этих словах алжирца содержался весьма прозрачный намек на брак Калажа, который развалился за пару недель. «Верно, однако в эти несколько мгновений подъема на крошечную кротовину я проделываю вещи, которые ты, вспомни-ка, ни разу не проделывал лет с двенадцати, несмотря на все эти лошадиные пилюли, которые, как я слышал, ты принимаешь четырежды в день, вот только помогают они тебе разве что от натоптышей и никак не влияют на этот самый отросточек, который благой Господь даровал тебе, а ты так и не придумал, что с ним делать, кроме как пихать себе в ухо». «Все молчать! – прерывал его алжирец, если в кафе было относительно пусто ранним утром и их сваря не мешала посетителям. – Месье Калашников затеял хулить мое мужское достоинство – возразите ему, если посмеете, но не забудьте прежде надеть пуленепробиваемый жилет». «А, наш арабский комедиант вылез из своей волшебной лампы пердушницей поперед», – парировал Калаж, опуская на стол вчерашнюю «Монд», которую ежедневно забирал бесплатно из торговавшего иностранными газетами киоска на Гарвардской площади, потому что она была суточной давности и никому уже не требовалась.

Порой, дабы смирить надвигающуюся бурю, владелец заведения, палестинец, ставил альбом арабских песен, как правило – Умм Кульсум. Хватало нескольких секунд, чтобы битва умов стихла и все четыре угла притихшего кафе «Алжир» заполнил заунывный голос арабской дивы. «Поставь погромче, погромче, в этом божественная любовь», – требовал Калаж. Звучала всегда одна и та же песня: «Энта омри», ты моя жизнь. Если в то утро Калаж завтракал с женщиной, он прерывал беседу и слово в слово переводил ей текст на свой кондовый английский: «Твои глаза привели меня обратно в наши давно ушедшие дни, – указывая на свои глаза, потом

на ее глаза. – И научили меня жалеть о прошлом и о его ранах», – широко поводя ладонью, он изображал стремительный и мучительный бег времени.

Если мы сходились за кофе с круассаном, он переводил текст и для меня, слово в слово, хотя детство мое прошло в Египте и арабских слов я помнил достаточно, чтобы уловить общий смысл. Если он сидел один и ставили эту песню, он замирал, держа чашку за бортик на весу, и будто под воздействием чар вслух повторял за дивой слова, а потом переводил их самому себе на французский.

После такой интерлюдии порой непросто оказывалось покинуть наше воображаемое средиземноморское кафе на побережье и возвратиться в Гарвард, располагавшийся по другую сторону улицы. В такие знойные утра, когда солнце слепило глаза, казалось, что он на расстоянии множества световых лет и созвездий.

Я все еще помню утренний запах щелока и хлорки, которыми Зейнаб протирала полы в кафе «Алжир», водрузив перевернутые стулья на крошечные столики. В принципе, кафе было закрыто, но некоторых – завсегдатаев, знавших арабский и французский, – все-таки пускали и позволяли ждать, пока заварится кофе. Один взгляд на плакат с Типазой – и тело начинало ныть, мечтая о морской воде и пляжных затеях, про которые ты раньше и помыслить не мог, что они забудутся. Из кафе «Алжир» я уносился обратно в Александрию, как вот Калаж уносился в Тунис, а алжирец – в Оран. По большому счету, каждый из нас ежедневно заходил в кафе «Алжир», чтобы забрать оттуда человека, которого оставил в Северной Африке, каждый пробирался назад к той точке, где жизнь, видимо, свернула не туда, каждый укладывал время в лубок, чтобы переломы, трещины и смещения заврачевались и кость наконец-то срослась. Укрывшись от утреннего солнца, окутанные крепким запахом кофе и дезинфицирующих жидкостей, все мы отыскивали путь назад к маме.

Впрочем, утра умели творить еще и волшебство второго порядка, потому что напоминали нам всем троим о Париже, срединной точке на пути домой, о французских кафе, так близко нам знакомых на рассвете, когда официанты спешат подготовить зал к рабочему дню, обмениваются любезностями с дворником, продавцом газет, разносчиками, булочником по соседству, и все забегают быстренько выпить кофе по пути на работу. Калаж завел тогда привычку очень ранним утром пить кофе в одном из кафе на улице Муфтар. Забежать, поздороваться с завсегдатаями, поговорить, пальнуть, кольнуть, начать утро с того, чем закончил вечером.

В кафе «Алжир» он по утрам почти всегда приходил первым. Подобно Че Геваре, являлся в берете: остроконечная борода, висячие усы, самоуверенный вид человека, который только что разложил динамитные шашки по всему Кембриджу, и теперь ему не терпится поджечь фитиль, вот только после кофе с круассаном. По утрам он не бывал разговорчив. Кафе «Алжир» было его первой остановкой, точкой перехода, где он заглядывал в мир, который знал с самого рождения; оттуда он, выпив кофе, выбирался наружу и каждый раз заново учился осмыслять этот непонятный Новый Свет, куда его почему-то занесло. Иногда, еще даже не сняв куртки, он заходил за крошечную стойку, брал блюдо и помещал на него один из свежих, только что доставленных круассанов. Поднимал глаза на Зейнаб, демонстрировал ей круассан на блюде и кивал, имея в виду: «Я за это заплачу, вот только попробуй не поставить мне в счет». Она в ответ кивала, в том смысле, что: «Видела, поняла, я б с удовольствием, но босс нынче на месте, так что никаких поблажек». Несколькими отрывистыми наклонами головы он сообщал: «Я никогда и не просил поблажек, ни сейчас, ни вообще когда-либо, так что не изображай из себя, знаю я, что босс твой на месте». Она передергивала плечами: «А то меня волнует, что ты там думаешь». Еще один вопросительный кивок со стороны Калажа: «Кофе когда поспеет?» Еще одно пожатие плечами, означающее: «У меня, чтоб ты знал, всего две руки». Его ответный взгляд явно был рассчитан на то, чтобы ее смягчить: «Знаю я, что ты работаешь не покладая рук. Я и сам такой». Пожатие плечами. «Утро не задалось?» – «Совсем

не задалось». Для них – в самой что ни на есть обычной ближневосточной манере – ни одно утро никогда не задавалось.

Когда около полудня Калаж возвращался в кафе «Алжир», то возвращался другим человеком. Он снова был в родной среде, заряжен под пробочку и готов открывать огонь – здесь его база, а ночь еще впереди.

Впоследствии я узнал, что у Калажа есть особый дар: способность к круговому обзору. Он всегда знал, что кто-то на него смотрит, или подслушивает, или – как вот я в тот первый раз – попросту недоумевают. Он сидел на своем месте в самом центре – его алжирская Немезида именовала этот столик *état major*, генеральный штаб, – и мгновенно распознавал всех по звуку шагов. Если, услышав ваши шаги, он не поворачивался поздороваться, значит, не хотел раскрывать, что знает о вашем присутствии. Или был слишком занят разговором с кем-то еще. Или видеть вас больше не желал во веки веков. Оценить ситуацию он умел за долю секунды. Входил в переполненный бар и через пару мгновений объявлял: «Пошли отсюда». «Почему?» – удивлялся я. «Тут женщин нет». «А вон те две, там сидят?» – поправлял его я, указывая на двух красоток, которых он явно не приметил. «Та, что в черном, большая на голову». «Ты как это понял?» «Так и понял, что просто знаю», – повторял он, а голос так и щетинился от нетерпения, раздражения, сарказма. «Я всегда понимаю – *оке?* Так. Все. Пошли».

Или, не поворачиваясь к двери, он вдруг говорил: «Пока не смотри, но к нам кто-то идет». Когда он успел заметить вошедшего? Как заметил? И как овладевают таким мастерством? «Сейчас купит мне кофе, потом пирожное, а потом привяжется». Разумеется, услышав от него «не смотри», я немедленно поворачивал голову – кто же это там. «Ты что, не слышал, как я сказал: “Пока не смотри”?» «Да, я слышал, как ты сказал: “Пока не смотри”». «Чего ж тогда смотришь?» Мне только и оставалось, что извиниться, пояснить, что до меня медленно доходит. «Вот прямо настолько медленно?»

Порой являлись женщины, от которых он хотел уклониться. Объятие от всей души, если ему не удалось вовремя сбежать, представления от всей души, чмок-чмок и еще раз чмок-чмок, а потом он сразу же поворачивался ко мне: «Он здесь?» «Кто здесь?» – уточнял я простодушно. «Юрист по эмиграционным вопросам, с которым мы договорились встретиться», – шипел он, навесив на лицо улыбку-стиллет, готовый накромять меня на куски за полное отсутствие мужской солидарности. Сообразить мне удавалось не сразу. «Нет, – отвечивал я, – он сказал, что ждет нас в кафе напротив». «Ждет в кафе напротив, ждет в кафе напротив, – бормотал он себе под нос, пока мы оба торопливо покидали «Алжир». – Тебе сколько времени нужно на то, чтобы сочинить какую-нибудь чушь вроде “ждет в кафе напротив”?» «Почему же чушь?» – возражал я, прекрасно зная, что это чушь полная. «Да потому что она запросто могла за нами увязаться!» Я никогда еще не чувствовал себя такой бездарью и профаном в житейских делах. Этакая вошь, увязавшаяся за титаном.

В один прекрасный день я вошел в кафе «Алжир» и увидел, что за моим обычным угловым столиком сидит девушка и читает книгу. Соседний с ней столик оказался свободным. Я подошел к свободному столику, положил на него свою книгу, сел. Она читала Мелвилла. Я перечитывал Спенсера. Когда она наконец подняла голову, я перехватил ее взгляд и поинтересовался, до какого места в «Моби Дике» она добралась. Она сказала. Я скорчил рожу. Она улыбнулась. Посмотрела на мою книгу и сообщила, что Спенсера изучала в прошлом году. Мы оба читаем книги на совершенно невозможном английском языке, заметил я. «Главное – привыкнуть», – ответила она. Беседа продолжилась. Про преподавателей, про наши книги, про другие книги. У нее оказалось много любимых писателей. Я сомневался, что у меня их так уж много. А потом темы начали иссякать, я позволил ей опять погрузиться в чтение и сам взял книгу. Через некоторое время она поднялась, оставила несколько монет на столике и собралась уходить.

– Вам, наверно, стоит перечитать Мелвилла, – заметила она перед уходом.

– Наверное, – согласился я.

Появилось чувство, что я обзавелся врагом.

– Ты, что ли, не понял, что она хотела продолжить разговор? – осведомился Калаж, подходя к моему столику.

А я и не заметил, что он все это время за мной наблюдал. Он спросил, о чем мы говорили.

– То есть говорили про книги. А дальше что?

Я не знал, что предполагается еще какое-то «дальше что».

– Мог бы сказать что-нибудь про нее – или хотя бы сказать что-нибудь про себя. Или про тех, кто сидит рядом. Или про чайную заварку, болван ты этакий. Про что угодно! Мог задавать вопросы. Помогать ей с ответами. Делать предположения. Рассмешить ее. А ты ей вместо этого про то, что не любишь. Да уж, таких, как ты, еще поискать.

– Просто разговор принял такое направление.

– Это ты его туда направил.

– Это я его туда направил.

– Вот именно. Как ты поступишь в следующий раз, когда заговоришь в кафе с женщиной?

Мое молчание все сказало за меня.

– Ты не понимаешь женщин или просто такой неумеха?

Я глянул на него в растерянности.

– Полагаю, и то и другое, – ответил я в итоге.

И мы оба расхохотались.

Он всегда знал, кто где находится, понимал, как что устроено и почему, никому не доверял и постоянно ждал от каждого человека только самого худшего. Он заранее предвидел, кто что может сказать или сделать, просчитывал даже то, в чем ничегошеньки не смыслил, и умел унюхать подвох или халтуру, о существовании которых большинство смертных не подозревали вовсе. В этом, как и во многом другом, он принадлежал к существам иного биологического рода. Еще не изобрели богов, героев и чудовищ, когда он ворвался в мир на пятый день творения, полностью свинченый, готовый к работе. Человечество появилось гораздо, гораздо позже.

Еще у Калажа была исключительная память на лица. Однажды мы с ним шли, и нам встретился один мой знакомый болгарин, и я сказал: «Он славный малый». «Козел вонючий», – отозвался Калаж и тут же поведал, что несколькими неделями раньше он видел, как этот самый тип поругался со своей подружкой и ударил ее по лицу перед одним ночным клубом в центре Бостона. «На самом деле из всех моих здешних знакомых он единственный, кого я действительно боюсь. Он тебя пырнет ножом не моргнув глазом, отымеет, а потом переедет машиной. Зуб даю, что он шпион».

Тогда я Калажу не поверил, но много лет спустя узнал, что этот самый тип, сперва погрузившийся в недра массачусетской системы исполнения наказаний за нападение, изнасилование и побои, всплыл на Юге в образе почтенного аукциониста благодаря усилиям болгарского посольства.

Был у Калажа еще один дар. Помимо памяти на лица, у него была способность видеть их насквозь. «Этот твой дружок такой-то такой-то, не доверяю я ему. Другой твой дружок такой-то тебя терпеть не может». Список был бесконечный. Такой-то такой-то всегда сидит сбоку, чтобы не смотреть тебе в глаза. Такая-то с виду добренькая, но только потому, что боится сказать в лицо, что тебя недолюбливает. А вон тот тип, он вовсе не умник, просто хитрюга. Вовсе она не счастлива, просто часто смеется. Эта не страстная, а суетливая. Этот не мудрый, а озлобленный. Истерический смех ничего не значит – как болтовня в баре, как откровения по телефону, как слова «я тебя люблю» вместо обычного «до свидания». Терпеть он не может людей, которые произносят «я тебя люблю», прежде чем повесить трубку. Сразу ясно, что не любят. Он с недоверием относился к тем, кто в кино с легкостью уدارился в слезы. Такие

люди неспособны чувствовать. Такая-то вечно прикидывается, что у нее закружилась голова, но только чтобы уклониться от необходимости сказать правду. Такой-то утверждает, что у него отличное чувство юмора. При этом никогда не смеется. Это все равно что говорить «я возбуждился», а у тебя при этом не встал.

Такой-то так, такая-то смяк. Тра-та-та-та, тра-та-та-та.

Сказать мне, зачем Молодому Хемингуэю борода? – осведомился он однажды.

Зачем?

Скрыть, что у него нет подбородка.

Я в курсе, зачем такая-то прикрывает ладонью рот, когда смеется?

Зачем?

Скрыть, что у нее толстые десны.

А знаю я, почему все говорят, что такой-то большая умница?

Потому что все остальные это говорят.

Сказать мне, почему такой-то вечно канючит, что все вокруг страшно дорого?

Потому что у него папаша богатенький, а он не хочет, чтобы его сочли папенькиным сыном.

А знаю я, почему он же вечно твердит, что хватит уже покупать дорогие шмотки?

Хочет, чтобы ты понял, что у него к ним прирожденный вкус.

И так далее, и тому подобное.

Каждого человека он измерял по шкале Рихтера на предмет подлинности или страстности, чаще и того и другого, потому что первое неизбежно предполагало второе. До его планки не дотягивал никто. В его вселенной кишели люди, которые не являлись теми, за кого себя выдавали. Где он подцепил такой образ мыслей? Есть в этом хоть доля правды? Или все это отпетая чушь, которую он вытягивает из собственной лампы Аладдина, а пламя в ней раздувают ночные кошмары и демоны в деменции? Или просто этот человек, совершенно несчастный, не знает иного способа удержаться на плаву в Новом Свете, разобраться в котором он способен одним-единственным способом: сказать себе, что постиг все его гнусные и скользкие штучки, способен прочитывать на лице под маской всю его подноготную, знает, в какую сторону крутится мир, потому что под ним мир провернулся вон уже сколько раз?

В итоге все, что при нем оставалось, это догадки, скорострельный третьемирный треп и параноя: этакий ясновидящий из пустыни и уличный карманник в одном лице.

– Ты замечал, что всегда переходишь улицу наискосок? – спросил он меня однажды.

– Да, так же короче, – ответил я, имея в виду гипотенузу.

– Верно, только ты не поэтому.

Я раньше об этом не задумывался и теперь решил не вдаваться. Понял другое – он видит меня насквозь: я все делаю с хитрецей, родился таким обтекаемым, читай – неблагонадежным.

Я сделал вид, что не слышу.

И в этом он, судя по всему, тоже увидел меня насквозь.

Я был уклончив, он прямолинеен. Я никогда не повышал голоса, он орал громче всех на Гарвардской площади. Я был скован, опаслив, застенчив; он – бесшабашен и безжалостен, чистая пороховая бочка. Он все мысли высказывал вслух. Я свои хранил, точно в сейфе. Он всем смотрел в лицо; я дожидался, пока ко мне повернутся спиной. Он ни во что не верил, пленных не брал, волтузил всех без разбору. Я всех терпел и при этом никого не любил. У него вся любовь была напоказ, моя была погребена в недрах, да и там... Он в Штатах оказался недавно, но уже успел поговорить едва ли не со всеми в Кембридже; я четыре года проучился в Гарварде, но тем летом выпадали целые дни, когда мне не с кем было перекинуться словом. Расстроившись или заскучав, он щетинился, ерзал, потом взрывался; я же был сама сдержанность. Он во всем впадал в крайности, а мне имя было компромисс, а прозвище – сдержанность. Если он что-то начал, его уже было не остановить, я же от малейшего дуновения вставал

как вкопанный. Он мог бросить любого не задумавшись, я же спешил мириться, а потом дулся про себя. Он умел проявлять жестокость. Я редко проявлял доброту. Ни у него, ни у меня не было денег, но случались дни, когда я был его намного, намного беднее. Он не видел в бедности ничего зазорного, поскольку в бедности родился. Для меня у стыда были глубокие карманы, глубже, чем даже твое «я», поскольку стыд способен забрать и жизнь, и душу, проникнуть во все поры, вывернуть тебя наизнанку, точно старый носок, обнажить твою подлинную окончательную суть – и вот тебе уже нечем похвалиться, все в самом себе тебе противно и, дабы это сносить, ты осуждаешь всех остальных. Он гордился знакомством со мной, а мне было неприятно, если нас видели вместе за пределами узкого круга посетителей кафе. Он был таксистом, я учился в престижном университете. Он был арабом, я евреем. В противном случае мы могли бы в любой миг поменяться ролями.

Несмотря на свою гневливость, несмотря на неприкаянную кочевую жизнь, он оставался человеком с этой планеты; я же постоянно сомневался в том, что мне здесь место. Он любил землю, понимал людей. Швыряй его куда хочешь, а он все равно встанет на ноги; я же, даже в состоянии покоя, вечно был не на месте, в глубинах себя. Если и создавалось впечатление, что я к чему-то прилепился, то лишь потому, что я замер на месте. Он вроде не на привязи, а на деле – в постоянном поиске добычи; я – в постоянной неподвижности. Если я и начинал шевелиться, то напоминал неумеху, что стоит, вконец растерявшись, на хлипком плоту посреди порогов; плот движется, вода движется, а я – куда там.

Я ему завидовал. Хотел у него учиться. Он был мужчиной. Я плохо понимал, кто я такой. Он был голосом, отсутствующим звеном цепи, соединяющей меня с прошлым, человеком, в которого я мог бы вырасти, обернись жизнь по-иному. Он остался дикарем, меня укротили, обротали. Но если взять меня и опустить в мощный растворитель, так, чтобы с кожи сошли все привычки, приобретенные в школе, и все уступки, которые я сделал Америке, может, там бы обнаружился не я, а он, и синее Средиземное море хлынуло бы на пляж точно так же, как он выплескивался в пейзаж всякий раз, когда я, набравшись храбрости, подходил к его столику в кафе «Алжир» и прерывал разделявшее нас молчание.

В другой стране, другом городе, в иные времена я никогда бы к нему не повернулся, а он мне даже не ответил бы на вопрос, который час. Не в моих привычках было подходить к незнакомцу, я никогда бы этого и не сделал, не разгляди я в нем частичку себя, нечто приглушенное и позабытое, что я опознавал моментально, стоило этому нечто фанфарой пропеть в его речи. Его вздорные тирады при всем их болезненном бессмысленном несварении что-то мне говорили, возвращали в прошлое – как вот кафе «Алжир» возвращало к чему-то далекому, безымянному, к чему-то, что я проглядел в самом себе.

Как я скоро выяснил, он оказался единственным, кроме меня, человеком во всем Кембридже, который не только не смотрел «Звездные войны», но принципиально от этого отказывался, скорбел, глумился над культом, который в то лето внезапно вырос вокруг. Оби-Ван Кеноби, Дарт Вейдер и Люк Скайуокер были у всех на устах, будто общеизвестные персонажи из шекспировской пьесы, а R2-D2 и С-3РО косили под мелких шутов и подхалимов-придворных. Для Калажа же они были воплощениями зажавшегося эрзаца.

Поначалу меня к Калажу потянула одна вещь, не имевшая ничего общего с его лукавым шестым чувством, его инстинктами выживания или могучими выплесками, которые непостижимым образом обхватывали вас своими ручищами и душили, пока не превратятся в хохот. Не была это и его псевдоколючая задушевность, которая столь многих отталкивала, а мне казалась до боли родной, потому что заставляла вспомнить те мгновенно складывавшиеся дружбы, когда оскорбление в адрес его мамы, а вслед за ним – еще одно, в адрес моей, способно было сблизить двух десятилеток на всю жизнь.

Возможно, он был двойником подлинного меня, моей примитивной ипостасью, которую я потерял из виду и слушил с себя по ходу жизни в Америке. Мое теневое «я», мой портрет

Дориана Грея, мой безумный брат с чердака, мой мистер Хайд, мой совсем, совсем грубый набросок. Я – без маски, без цепей, без поводка, без ретуши: я, ничем не стесненный, я в лохмотьях, я в ярости. Я без книг, без лессировок, без грин-карты. Я с «калашниковым».

Если мне и нравилось его слушать, то не потому, что я принимал на веру или хотя бы ценил все то, что он каждый день нес в кафе «Алжир», а потому, что было в тембре и фразировке его речи нечто такое, что как бы перебирало сваленные в кучу древние обломки, напоминая мне о человеке, которым я, может, и родился, но которым не стал. Если я и не принимал всерьез те инвективы, которые он ежедневно обрушивал на Америку, то лишь потому, что на самом деле поносил он вовсе не Америку, а голос его не был голосом озадаченного жителя Ближнего Востока, который пытается оградить себя от беспощадного Запада. Нет, я слышал там хриплый, с присвистом, угрожающий тембр более древнего извода человечества, более древние способы быть человеком, он ярился, ярился против накатывающей волны нового, которая обликом и поведением схожа с людской расой, а на деле ею не является. Речь тут шла не о столкновении цивилизаций, ценностей или культур; дело было в том, который орган, которую камеру сердца, которое из возлюбленных пяти чувств человечество от себя отсечет, дабы влиться в современность.

Именно поэтому он, по его собственным словам, ненавидел нектарины. По-французски *brugnons*. Людей якобы *нектаризируют*: сладость без доброты, все чувства правильные, но не от сердца: их выводят искусственным путем, сшивают из лоскутьев, рождают кесаревым сечением, а не естественным способом, вот и выходит голова что слива, жопа что персик, а яйца размером с изюминки. У нектарина в царстве фруктов ни единого живого родича. Он результат скрещивания.

– В смысле, как вот и мы – результаты скрещивания? – спросил я у него как-то в кафе «Алжир», после того как он долго распинался, что у президента Картера, мол, *нектариновое* лицо, а уж улыбка и подавно. Лицо, согласился я, ну чистый нектарин. Вот только остальные мы разве лучше? Все мы такая же фальшивка, как и прочие, а уж те, кто успел пожить на трех континентах, – чистый результат скрещивания.

– Да, полагаю, вроде нас с тобой, – согласился он. А потом, через миг: – Нет, не как мы с тобой. Нектарин считает себя фруктом. Он понятия не имеет про собственную неестественность и, сколько ты ему это ни доказывай, не согласится. Вот тебе доказательство: он даже способен рожать детей, как вот и роботы смогут рано или поздно рожать детей.

Тут вид у него сделался задумчивый и даже печальный.

– Пока детей не заведешь, вообще не понять, человек ты или нет.

Откуда это у него такие представления?

– А у тебя есть дети? – спросил я.

– Детей у меня нет.

– Ну так? – Я его поддразнивал.

– У меня есть кожа. И только. – И опять, как и в день нашего знакомства, он ущипнул себя за предплечье. – Вот. Вот мое доказательство. Цвет почвы в моей стране, цвет пшеницы. Но, – добавил он, будто по здравом размышлении (он любил дополнять самого себя по здравом размышлении), – я хотел бы завести ребенка.

Все это громким голосом, по-французски, чтобы сильнее заинтриговать женщину, сидевшую за соседним столиком, которая, вероятно, гадала, а она сама-то не нектарин, надеялась, что нет, одновременно пытаюсь сообразить, хорош ли этот плут-проповедник в постели в качестве любовника.

В чем, собственно, и заключалась цель всей диатрибы.

При всем при том окончательно и с самого начала нашу дружбу скрепила общая любовь к Франции и французскому языку, а говоря еще точнее – к нашему образу Франции, потому что настоящая Франция нам уже была не больно-то и нужна, равно как и мы ей. Мы лелеяли

эту любовь точно постыдную тайну, потому что не могли ее изжить, не доверяли ей, даже не хотели давать ей гордого имени любви. Но она нависала над нашими жизнями, будто краденое и докучное наследство, полученное из детских лет, которые каждый из нас провел в Северной Африке. Возможно, любовь мы испытывали даже не к Франции и не к французской романтике; возможно, Францией мы прозвали отчаянную попытку найти в своей жизни хоть какое-то основание – для нас обоих прошлое оставалось самой надежной подпоркой, а прошлое наше было написано по-французски.

Каждый вечер мы отыскивали друг друга в барах и кофейнях Кембриджа, усаживались вместе и около часа говорили по-французски про Францию, которую оба любили и утратили. Он оказался в Кембридже, потому что скрывался от долгов, от алиментов, от пооди поймаи каких злополучных затей и незаконных предприятий, в которые ввязался во Франции. Я оказался в Кембридже, потому что до сих пор не набрался смелости собрать вещи и назвать Францию своим домом. Но с самого того дня, когда мы начали сталкиваться едва ли не каждый вечер, мы стали друг для друга максимальным приближением к Франции. Даже легковесная насыщенность его сбродных понятий, почерпнутых из рабочих кофеен на улице Муфтар и перемещенных в тускло освещенный бар «Касабланка», помогала поддерживать эту иллюзию на плаву. До последнего звонка. С последним звонком все делалось еще насущнее, отчаяннее, потому что, когда включали свет и мы наконец-то выходили из бара на успевшую опустеть Брэттл-стрит, мы заранее предчувствовали, что и в этот вечер, как во всякий другой, не минует нас отрезвляющее понимание того, что это не Франция и никогда Францией не будет, что все неправильно и правильно не будет никогда, что и с самой Францией все не так, потому что нам не так где угодно: и здесь, и во Франции, и в том месте, где каждый из нас появился на свет, – в местах, переставших быть нашей родиной. Мы обижались на Кембридж за то, что он не Париж, как в будущем мне предстояло обижаться на многие места за то, что они не Кембридж, и это все равно что обижаться на человека за то, что он не является кем-то другим или не соответствует требованиям, на которые сам он никогда не подписывался.

Все, что эхом звучало у нас в головах, когда мы прощались и наконец-то отправлялись в жилища, которые ни тот ни другой не мог по совести назвать домом, – это предпринятые за истекший вечер попытки состричь по-французски, на языке, на котором мы говорили с радостью и с горечью в сердце, поскольку говорили с ущербными акцентами, потому что для нас это был первый язык, но не родной. А который нам родной, мы не ведали вовсе.

Калаж, бербер по рождению, вырос в Тунисе и там полюбил Францию, я же с самого детства боготворил Париж, живя в Александрии. Тунис исчерпал для него свою пользу, когда он в семнадцать лет в Марселе взошел на борт военного корабля, как для меня исчерпал свою пользу Египет, изгнавший меня в четырнадцать за мое еврейство. Мы с ним – этим он любил хвастаться, когда сталкивался в баре с женщинами, – являлись оборотными сторонами друг друга.

Ислам вызывал у него такую же досаду, какую у меня – иудаизм. Наше равнодушие к религии, к своему народу, к непрекращающимся конфликтам на Ближнем Востоке, к очень многим вещам, которые с легкостью могли вбить между нами клин, наше презрение к патриотизму, знаменам, любому «правому делу» и всевозможным уютным идеологиям, которые кочуют по Европе с конца шестидесятых, не оставили нам почти ничего, кроме несколько замызанного чувства лояльности – он это называл *complicité*, приверженностью, – к тем, кто мыслил как мы, кто походил на нас. Вот только других таких, как мы, не было. Я сомневаюсь, что мы вообще знали, что из себя представляет «такой, как мы», поскольку сами были совсем разными. Мы ничего не придерживались, к нам ничто не прилеплялось, ничто даже не «цепляло». Столицей нашей был вымышленный Париж. Родной страной – мы двое. Остальное – хрень. *De la merde*. Паспорта – хрень. Газеты – хрень. Кембридж – хрень. Мои экзамены – хрень. Книги, которые я читаю, – хрень. Массивный таксомотор компании «Чекер», за руль

которого он садился каждый день (его Немезида именовала машину «Титаником»), – хрень, его женщины, заявка на грин-карту, которая, судя по всему, лежит мертвым грузом, его адвокат, «Касабланка», его непрорезавшиеся зубы мудрости, его первая жена, его вторая жена, его брак со второй женой до развода с первой (вторую он возненавидел так же сильно, как и первую, поскольку обе в итоге вышибли его из своей жизни, ведь все всегда вышибают его из своей жизни) – все это хрень. Даже объявления о знакомствах, которые он любил читать в свежем выпуске «Бостон феникс», – хрень, да и его ответы, которые мне приходилось писать за него по-английски, – хрень. Он всем и на все возражал, потому что в возражениях слышал свой собственный голос, однако, услышав его, тут же разворачивался и противоречил самому себе, заявлял, что в нем самом хрени не меньше, чем во всяком другом. Единственное исключение, заявлял он, составляют семья и род. Его самый младший брат, мама и даже сестра, которая сбежала в Париже с алжирцем и с которой он отказывался иметь какие бы то ни было дела и все же время от времени отправлял ей посылки с американскими гостинцами. Возможно, в итоге он и меня включил в свой крошечный клан. За всех нас он отдал бы жизнь не задумываясь. Он, видимо, знал (а я знал это всегда) что я бы ради него не рискнул ничем – видимо, от недостатка мужества и привязанности.

Если я ему и помогал – например, я много часов натаскивал его перед интервью в Иммиграционной службе, – то, видимо, делал это либо просто не задумываясь, либо потому, что не мог придумать веского предлога для отказа. А может быть, для меня это был способ отвлечься от собственной работы, почувствовать, что я делаю что-то полезное, помимо чтения всех этих книг, которые наверняка больше никогда не стану перечитывать. Он пылко меня благодарил и добавлял, что чужая помощь в его жизни такая редкость, что он особенно ценит людей, которым есть что отдавать. Я отнекивался, мямлил, что все это пустяки. Он упорствовал в том, что я не прав, что верный признак хорошего друга – неспособность понять, насколько он хороший друг. Я успел усвоить, что спорить себе дороже. Одолжение это далось мне слишком легко, не несло в себе ни малейшего риска, никаких обязательств, нравственных терзаний, не требовало преодоления трудностей или сомнений. Я знал, что разница между добрым делом и необременительным бескорытием – это такая мелкая монетка, брошенная на поднос. «Порешим на том, что помочь мне было тебе в радость», – добавил он, пресекая нашу дискуссию, когда в один из дней мы вышли из кафе «Алжир», выпив там пять чашек кофе. Видимо, за своей пылкой благодарностью он пытался скрыть то, что всегда подозревал: что для меня это лишь мимолетное приятельство, при том что я для него давно утраченный брат, о существовании которого он и не подозревал, пока случайно не встретил его в кафе «Алжир». «Когда-нибудь тебе придется мне объяснить, почему ты позволил мне стать твоим другом, – говаривал он, – и тогда я тоже расскажу тебе почему. Но начать придется тебе». Когда он пускался в такие разговоры, я всегда кидал на него лишенный выражения взгляд: «Чего-чего? Ты вообще о чем там?» «Когда-нибудь», – повторял он, тщательно оценив мой намеренно пустой взгляд, ничуть его не обманувший.

Мы так безошибочно считывали друг друга также и потому, что нас связывала еще одна вещь: крайне редкостного рода презрение ко всему и всем. Презрение мы выражали по-разному, однако проистекало оно, по всей видимости, из общего источника самоненавистничества. Мой бил точно кипучий ключ, извергавший желчь и бессловесную досаду; его – фонтанировал яростью. Человек не рождается самоненавистником. Однако сгребите в кучу все свои ошибки, ошибитесь в направлении на достаточном количестве жизненных перекрестков – и вы очень быстро перестанете себя прощать. Куда ни погляди, отовсюду в ответ на тебя таращатся стыд и неудача.

В нем это было. Во мне тоже. Сплошные промахи, каждый из них роковой в своей вероломной малости. Промахи и хрень. Хрень представляла собой наш протест, попытку огрызнуться в ответ. Орать «хрень» и «брейдытина» было для него все равно что поливать спиртом

рану в надежде, что хуже не будет. Слово «хрень» ты произносишь, чтобы отразить первый удар. Оставить за собой последнее слово. Показать, что там, откуда ты его почерпнул, остались и еще слова. Проверить заранее, чтобы потом не схлопнуться на глазах у других. Мы и самим себе орали: «хрень». Хрень – последняя подпорка для пошатнувшейся гордости, последняя опора на зыбучем песке под названием «чувство собственного достоинства». После этого – только потоки слез.

Плакал он при мне дважды. В первый раз – когда узнал, что его отца, оставшегося в Тунисе, срочно госпитализировали с перитонитом. После этого из Туниса – ни писем, ни звонков, гробовое молчание. А сам он тут, закопался в нору на краю света, в Кембридже. Подобно персонажу из «Касабланки», он был неприкаянной душой: дождался транзитных писем, которые никогда не придут, заводил недолговечные знакомства в сомнительных заведениях. Почему он оказался в Касабланке? Да просто – как говорит в фильме Богарт – его дезинформировали. Не следовало ему сюда приезжать. А он здесь, этакий одинокий контрабандист в мире, которому смертельно надоели неприкаянные антигерои-самоненавистники – поскольку сами эти антигерои давно превратились в хлам и хрень.

Плакал он не только по отцу. Еще и по себе, ведь не мог сесть на первый же самолет в Тунис, не мог вернуться домой еще более нищим, чем когда уехал оттуда семнадцать лет назад, потому что, если он уедет сейчас, его никогда больше не впустят в США, потому что он стыдится себя нынешнего. Безвыходное положение. Я до того никогда не видел, чтобы человек молотил себя по голове сразу обоими кулаками. А он молотил, пока я не перехватил эти его кулаки и не сказал:

– Все, хватит, ради бога, бросай ты себя увечить!

Ни он, ни я не верили в Бога. Я обхватил его рукою за плечи. Раньше я такого не делал. Он рыдал, уткнувшись мне в плечо, я ощущал, как вздымается его грудь, а потом он вдруг расхохотался. Через двадцать минут он рассказывал всем посетителям кафе, что разрыдался у меня в объятиях как женщина: прямо как женщина, повторял он.

Я понимал, к чему он клонит.

За этой его яростью, фонтаном выплескивавшейся наружу, и преувеличенными инвективами в адрес всего рода людского скрывался человек, который так и не вырос. Он думал, что вырос, – или прикидывался. Его страшно бесило, когда вы замечали в нем семнадцатилетнего. В этой точке жизнь его замерла. Что было потом – промахи и хрень.

Второй раз я увидел его слезы гораздо позднее.

– Я проголодался. Ты ел чего? – спросил Калаж в кафе «Алжир» в день нашей первой встречи.

– Нет.

– Пошли перекусим на халяву.

Он поднялся, и вид у него оказался такой неопрятный и запущенный, что я вообразил себе нечто вроде благотворительной столовки. Но в жизни все когда-то случается в первый раз, а я в своем аховом финансовом положении часто жертвовал едой ради сигарет. Я готов был признать поражение и протянуть руку за тарелкой бесплатного куриного супа или что там предлагается нищим на прокорм в нынешнее воскресенье.

– В «Цезарионе» нынче щасливый час. – «Щасливый» он произнес на французский манер: подчеркивая гласные и сглатывая шипящие.

Я понятия не имел, что такое щасливый час. Вид у него сделался озадаченный.

– Ну это когда покупаешь бокал дешевого бледно-красного вина за доллар двадцать два, а на закуску берешь столько бутербродиков, сколько сможешь съесть, – пояснил он.

Почему я раньше об этом не знал?

Мы вышли из кафе «Алжир» и по узкой кишке пробрались к крошечной беззаконной парковке у «Харвеста». Там он любил оставлять свою машину.

В «Цезарион» он вошел с достоинством и самоуверенностью давнего друга владельца, метрдотеля, старшего официанта.

– Если честно, острые крылышки меня уже достали, – поведал он, едва увидев здоровенную керамическую миску с жирнющими жареными крылышками в слякотном болоте очень густого соуса для барбекю.

Мы заказали два бокала красного вина. Берешь тарелочку *сomme sa*, вот так, пояснил он, складываешь на нее бутербродики, канапе или крылышки – *сomme сесі*, вот этак.

Довольно скоро на первый этаж «Цезариона» начали забредать некоторые персонажи, которых я до того заметил в «Алжире». Мне это заведение всегда представлялось дорогим. А тут половина кембриджских оборванцев сидят и набивают брюхо крылышками в жире и бутербродиками. Я четыре года прожил в этом городе, а этот красавец шесть месяцев назад приземлился в аэропорту Логана и уже изучил все тонкости того, где здесь можно в воскресенье поест на халяву. Как и где обзаводятся подобными навыками?

– Видишь вон того типа? – Калаж указал на бородача в большой шляпе с кожаными полями. – Он тут и вчера был. И позавчера тоже. Приходит, как и я: набить брюхо на халяву. – Калаж протиснулся к стойке с сырами. Я последовал за ним. Он указал на женщину с бокалом вина в руке: – Она днем тоже была в «Алжире». – Я бросил на него непонимающий взгляд. – Не помнишь, что ли? Она два часа просидела с тобой рядом.

– Что, правда?

– *Franchement*, ничего себе... – Воплощенное изумление. – А теперь погляди-ка на того типа.

Я поглядел на *того типа*. В отличие от Молодого Хемингуэя, он был тщательно и художественно небрит. Не на что там глядеть, объявил я наконец. Разумеется, есть, рывкнул Калаж.

– Глаза разуй, ясно? – он шумно выдохнул. – Он только что заметил в уголке женщину и пытается ее склеить. И всегда мимо кассы.

И действительно, художественно небритый молодой человек подкатился к женщине в летнем платье с восточным узором и, не глядя на нее, что-то забормотал. Она улыбнулась, но не ответила. Он пробормотал еще что-то. Вторая ее улыбка была более сдержанной, едва ли не вымученной. Уже по тому, как она прислонилась к колонне, было ясно, что она не заинтересовалась. «Этому уроки не впрок». Меня же восхищали его мужество и настойчивость, о чем я и сказал.

– Мужества ему не занимать, настойчивости тоже, а вот стыда в нем ни на грош. Желания тоже не занимать. Вот только оно у него в голове, а не *здесь*. Именно поэтому все и выглядит неубедительно: он и себя-то не до конца убедил. В один прекрасный день, лет этак в пятьдесят, он проснется и сообразит, что женщины ему вообще никогда не нравились.

– Откуда ты все это знаешь?

– Откуда знаю! Тут и знать нечего. Он совершает положенный ритуал, но сразу видно: надеется, что она сама его остановит. Либо так, либо он заранее для себя решил, что дело не выгорит, а не отступает, только чтобы показать, что хотя бы попытался. Кроме того, есть еще одно обстоятельство. – И вот тут, прислонившись к стене, он наконец-то закурил сигарету, которая свисала у него изо рта с того самого момента, как он свернул ее в «Алжире». – Дело в том, что внешне он урод и сам это знает. Щетина для того и предназначена, чтобы выглядеть краше, только не помогает.

Мне сделалось интересно, что он думает про меня. Разгадал уже или нет? Впрочем, знать это хотелось не особо.

Подошел официант, спросил, налить ли нам еще вина.

– Чуть попозже, – ответил Калаж, едва ли не оскорбленный тем, что ресторанное начальство разводит его на вторую порцию. – Вы не видите, что я еще не допил?

Тем временем официантка забрала у нас пустую миску из-под крылышек, но моментально вернулась и принесла другую, до краев наполненную тем же самым.

– Нам еще несколько штук не повредит, – заметил Калаж.

Вскоре появился и его приятель, которого он бросил в кафе «Алжир».

– Опять он. Пошли отсюда.

А мне «Цезарион» как раз начинал нравиться. Я распробовал бутербродики, да и куриные крылышки были вполне ничего.

– Тут уже ничего больше сегодня не будет.

– В каком смысле?

– Всех женщин разобрали.

– А вон та, которая прислонилась к колонне? – показал я с единственной целью – побыть здесь подольше.

– Она здесь работает.

Никто не заставлял меня уходить с ним вместе, но я все же ушел. Оказавшись на улице, в свете раннего вечера, он пробормотал по-французски:

– Терпеть не могу щасливые часы.

Дело шло к закату. Никогда я не любил закаты на Гарвардской площади, никогда не любил Маунт-Оберн-стрит, особенно по воскресеньям ближе к вечеру, когда ее утомленно-ущербный свет и ее зашторенный, городской новоанглийский облик приводят на ум смесь истаивающего богатства, подспудного ветшания и укромных топотков в тихих домах престарелых, где сразу после ухода воскресных посетителей на стол подается ранний ужин. Маунт-Оберн всегда была символом занюханых задворков Кембриджа, а теперь, с отъездом студентов, ее пустынные тротуары и уродское здание почты выглядели серыми и несчастными, точно вдовствующая королева без куафюры.

Меня одолевала нервозность, нужно было возвращаться к чтению. Кроме того, Калаж начал хватать меня за пуговицу, а мне это не нравилось.

Внезапно – мы еще были на лестнице и поднимались к выходу – он протянул руку и пожал мою.

– Время пролетело быстрее, чем я думал. Пора мне в такси.

Он, похоже, прочитал мои мысли. Такое отрывистое завершение разговора было вполне в его духе. Потом легче попрощаться.

– Может, еще увидимся. Bonne soirée³.

Чик!

Домой я пошел не сразу: потянуло обратно вниз, в «Цезарион». Ел я всегда мало, того, что дают на «счастливый час», вполне хватит до конца дня, если слопать еще крылышек. Однако, проведя внизу всего несколько секунд, я отчетливо почувствовал себя не в своей тарелке. Не то общество, не то место. Без Калажа и ненастоящей Франции, которую он проецировал в тот день на все вокруг, я почувствовал себя неловко, неприкаянно. Все тут выглядели завсегда-таями, мне же нужно было, чтобы они видели, как я разговариваю с кем-то – с человеком, который здесь как дома и достаточно прожил в маргинальной зоне, чтобы не чувствовать себя неуютно и даже непорядочно, если его застукают за таким вот крохоборством. Мне было даже не собраться с духом, чтобы съесть еще одно крылышко. Когда бармен принес мне бокал красного, миска с крылышками уже исчезла. Будем надеяться, ее скоро наполнят снова. Однако большое блюдо с бутербродиками тоже унесли. Я не сразу сообразил, что «счастливый час»

³ Хорошего вечера (*франц.*).

закончился, а вино, когда я наконец спросил у бармена, сколько с меня, успело подорожать вдвое.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.